
ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВ
ГАРМОНИСТ
СУВОРОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО · 1928
В. АНДРЕЕВ ГАРМОНИСТ СУВОРОВ

ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВ

ГАРМОНИСТ СУВОРОВ

РАССКАЗЫ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1928 ЛЕНИНГРАД

I

Не то речушка, не то канава. Узкая. Вонючая. С нефтью, плавающей на поверхности. Берега завалены мусором. Из мусора, местами, пробивается ромашка, не с белыми лепестками, на которой гадают в „любит — не любит“, а зеленожелтая, шариками, крепко-пахнущая.

Речка имеет название и обозначена на карте города, но окрестные жители зовут ее по-своему.

При двух царях, последнем и предпоследнем, и при республике одно ей имя — „Негодяевка“.

На берегу ее, в деревянном, о шести квартирах, домике жила вдова, прачка Прасковья Кудряшова или как ее звали: тетя Паша. Снимала она квартиру из двух маленьких комнат и кухни. В одной комнате — сама, в другой — жилец.

Весь зазаставский квартал знал тетю Пашу, но еще больше ее жильца. Старики и молодежь, приятели и, наоборот, враги жильца тети Паши — все сходились в одном мнении о нем. Именно, что он ценил себя чересчур высоко.

Действительно, если, например, верить истории — полководец Суворов, в досужее от ратных дел время, где-то, у себя в селе Кончанском играл с ребятишками в бабки, а вот жилец тети Паши, тоже Суворов, только Женя, и конечно, уж не генералиссимус, а гармонист, был о себе мнения более высокого, чем его знаменитый однофамилец.

Не говоря уже о том, что не играл с парнишками ни в выбивку, ни в орлянку, но даже пиво пил не с каждым из знакомых. Бывало ему:

— Товарищ Суворов, притыкайся!

А он внимательно оглядит компанию и откажется.

Кто-нибудь из друзей:

— Ты чего, Женя? Со мной не желаешь? В чем дело?

А он:

— Аудитория не соответствует.

Некоторые, недолюбливающие Суворова, подсмеивались над ним, за глаза:

— Гордится Женька, что на свет народился.

И, возможно, в этом была своя правда.

С одной стороны, Суворову было чем гордиться: известный когда-то гармонист, награжденный жетонами за игру; две польки его сочинения были наиграны на граммофонные пластинки. Для гармониста это не фунт изюма. Этим и гордись! Но зачем гордиться пустяками; серебряными часами с тремя крышками, русским костюмом?

Такие часы давно вышли из моды, а в поддевке, шароварах и лакированных сапогах к месту выступать на подмостках и не иначе, как с гармонией. А Женя в таком костюме не только на подмостках, но и на улицах Ленинграда.

Все свое он ценил очень высоко. Любил свою фамилию. И сочетание громкой этой фамилии с детским — „Женя“ не казалось ему смешным. Свою комнату, выходившую окном на Негодяевку, он меблировал долго и с любовью, а после приглашал знакомых и хвастался наивно, как дикарь, нацепивший на себя за раз двое часов.

— Какова обстановочка, а? Изящно?

Гость оглядывал комнату и недоумевал.

Кровать с чехлами на спинках, высоко-взбитая постель охвачена нежно-розовым одеялом плотно, без еди-

ной складочки; подушки—пирамидкою, на верхней—кружевная покрышка; над кроватью, вышитый бисером, бархатный башмачок для часов; на комоде туалетное зеркало, вазы с бумажными розанами, о-де-колон, пудра, гребенки — все в строгом порядке; на окне, полузадернутом канареечного цвета занавескою, — герань, бальзамин, бархатцы; в углу—икона, зеленая лампадка, пучок вербы, фарфоровое пасхальное яйцо.

— Ну, как, а? — потирал руки хозяин.

Гость неопределенно отвечал:

— Да-а...

Суворов важно говорил:

— Непохоже, поди, что живем „на окраине где-то города“, а? Можем, друже, устроиться с комфортом, можем, елочки зеленые!

И снисходительно похлопывал гостя по плечу.

Иногда кто-нибудь, более прямой, замечал:

— Не поймешь, Женя, что у тебя. То ли монастырь, то ли чорт знает что! Образа, вот, яичко!

Суворов раздражался:

— Яичко! Это не для веры, а для своего удовольствия. Иной раз, в часы досуга, смотришь на икону с яичком и невольно вспоминаешь золотые дни минувшего детства. И станет на душе приятно, трогательно. Позабудешь, это, окружающую обстановку и витаешь в надзвездном мире, так сказать: „без руля и без ветрил“. А ты — „монастырь!“ Чудак, елочки зеленые!

Волнуясь, рылся в карманах шаровар, доставал деревянный портсигар и спичечный коробок в жестяной спичечнице. Гость смущенно оправдывался:

— Я, Женя, вот о чем. Ты, значит, считаешься, первеющий гармонист. А комната у тебя, как у барышни у молоденькой. Ты не сердись, ведь я не в насмешку.

Суворов внимательно разглядывал потертый рисунок скачущей тройки на крышке портсигара, затем поднимал глаза на собеседника:

— Извиняюсь, вы, кажется, кончили? Прекрасно!.. Со своей стороны должен сказать следующее: согласен с тем, что я гармонист единственный в своем роде. Прямо, можно так выразиться: профессор-самородок. Но на ряду с этим обладаю душевным благородством, не взирая на то, что происхожу из пролетариата. Короче говоря: отец имел не что иное, как басонную мастерскую. Благородство же мое заключается в стремлении ко всему нежному и изящному.

Уже смягчаясь, дотрагивался до руки гостя тонкими пальцами, искривленными от долголетней игры на гармонике:

— Друже! Я знаю, многие теряются в мучительных догадках: почему, дескать, Женя Суворов, старый, заслуженный гармонист, человек умный и всесторонне начитанный, вращается среди этой минорной обстановки. Думаете, небось, — гордость, фасон? Ничего подобного! Людям не понять, что только среди этих невинных цветочков и яичек я всецело отдыхаю душою. Не надо кидать мне упреков в аристократизме. Весь окружающий комфорт необходим мне для вдохновения таланта. Меня не вдохновляют бурные потоки уличного движения. Только в этой изящной комнате с видом на одинокую речку я создам что-либо более грандиозное, чем созданные в свое время вещи, то есть общеизвестные польки „Чародейка“ и „Лесные ландыши“, исполняемые даже граммофонами.

Провожая гостя, говорил:

— Гордость во мне есть, люди говорят безошибочно. А только человек я на редкость корректный. Прямо, можно сказать, дамский человек.

Суворов любил много и красиво говорить.

Как-то тетя Паша, при первом с ним знакомстве, заметила о его костюме:

— В прежнее время тут, в Катерингофе, песельники завсегда ходили в такой же, вот, одёжине.

Суворов грустно улыбнулся, покачал головою и заговорил длинно и гладко, словно читая:

— Вы, Прасковья Петровна, несколько искажаете факты действительности. Песенники отнюдь не носили поддевок. Поддевка как таковая являлась необходимым туалетом запевалы хора песенников, а равным образом — сольного гармониста. А песенники выступали в общем и целом в плисовых безрукавках и таких же шароварах, а головным убором им служили ямщицкие шапки, короче говоря: шапка круглой формы, с плоским дном, украшенная вокруг тулейки перьями павлиньего хвоста.

Этой умной и обстоятельной речью Суворов раз навсегда покорил сердце, ум и волю наивной мягкосердечной тети Паши.

— Говорит он у меня, — рассказывала она знакомым женщинам: — ну, прямо, как из кранта льет. И все к слову, и все к месту, и все по-ученому.

Суворов не любил говорить просто.

Даже свою гармонию называл не просто гармонью или баяном, а непременно:

— Хроматическая гармония „баян“.

II

Ежедневно, к шести вечера Суворов отправлялся играть в ресторан „Саратов.“

Шел он обычным шагом, мелким и неторопливым, слегка шаркая подошвами мягких лакированных сапог. Словно танцовал.

В левой руке — гармония, в шагреневом футляре.

Нес ее Суворов осторожно, как ведро с водою.

И выражение лица у него было томное: глаза прищурены; губы, выпяченные как бы для поцелуя, приподнимали рыжеватые колечки усов к большому, с крупными рябинами, носу.

В ответ на приветствия знакомых Суворов не раскланивался и не подавал руки, а вскидывал голову и каким-то особенным благословляющим жестом подносил руку к козырьку фуражки.

Если кто-нибудь окликал:

— В „Саратов", Женя?

Отвечал, пожимая плечами:

— Я думаю.

У входа в „Саратов" на мгновение останавливался, разглядывая пеструю афишу, где он изображался румяным черноусым красавцем, играющим на череповке.

В ресторане томное выражение лица Суворова сменялось недоступным и строгим. И только на поклоны отвечал так же благословляюще.

На эстраде Суворов держался еще недоступнее: не отвечал на приветствия даже лучших друзей; играя, не ёрзал на стуле, не наклонял уха над баяном, не держал такта притоптыванием, а сидел, как изваянный, недвижно глядя поверх голов сидящих за столиками людей.

Похоже было, что он не трактирный музыкант, а жрец, свершающий неведомый ритуал.

Это впечатление усиливалось при виде разостланной на его коленах не простой подстилки, суконной или сатиновой, как у всех гармонистов, а малинового бархата, с бахромою и с каким-то зеленым и золотым шитьем.

Напоминала эта подстилка антиминс.

Но если бы кто пристальнее вгляделся в устремленные мимо людей глаза Суворова—не поверил бы ни его торжественной осанке, ни бархатному, с золотом и бахромою, плату и удивился бы, что человек с такими глазами сочинял когда-то веселые польки и только что

играл бодрый марш прославленной республиканской конницы.

Глаза Суворова, большую часть жизни видевшие одно и то же: чадные трактирные комнаты, столики, пьяных — глаза были безотрадные, опустошенные, как осенние овраги. Такие глаза встречаются у людей, годами сидящих в тюрьме.

Такие же, вероятно, были у алхимиков.

Иногда посетители „Саратова“ видели Суворова не таким, каким он бывал всегда.

Входил он в зал не томно-танцующей походкою, а порывистою, немного бесшабашною. Здороваясь не благословлял, а попросту кивал головою или даже подавал руку. У некоторых столов останавливался, разговаривал, весело смеясь. Вертелся на беспокойных ногах, то и дело откидывал то одну, то другую полу поддевки.

И игру начинал не сразу, „с подсчета“, как постоянно, а усаживался на стуле плотно и решительно, наклонял голову над баяном и долго, задумчиво смотрел в пол.

Потом начинал тихо наигрывать что-то.

Звуки всплывали задумчивые. Вздыхали басы, тоже словно думая, вспоминая давнее, забытое.

Звуки — неполные, отрывистые, смутные, казалось, искали что-то потерянное и не могли найти.

Наконец, Суворов встряхивал желтыми, подстриженными в кружок, волосами, укреплял на коленях баян.

Начиналась настоящая игра.

Оживлялись сидящие за столами, топали в такт, поднимали вверх стаканы. Кто-то пел сиплым, немолодым голосом:

На берегу сидит девица,
Она шелками шьет платок;
Работа чудная такая,
А шелку все недостает.

— Женя! „Уж ты, сад!..“ Сыграй, „Уж ты, сад!..“

— Соколовскую тройку!

И Женя играл. И пели во всех концах зала.

В перерывах Суворов опять толкался у столов, размахивая полами поддевки, беспрерывно смеялся.

Пьяные старики лезли к нему со стаканами, говорили растроганно, по-пьяному кривя рты:

— Женя! Ми-лай! Хорошие песни знаешь, старинные!

Суворов откидывал полу:

— Еще жива старая гвардия, а? Елочки зеленые!

В такие дни Суворова любили. Он становился доступным, душевным. Пил с кем попало, принимал угощения за заказанную игру, тогда как в другое время брал „сухим“, то есть деньгами, или же нераскупоренными бутылками пива, которое сдавал, со скидкою, обратно, в буфет.

В такие дни и хозяин „Саратова“, Иван Захарыч Лодочников, седой человек с черными молодыми глазами, ходил легко, возбужденно, самодовольно потирая руки и ласково глядя на Суворова в тот момент, когда тот смотрел на него.

Иван Захарыч знал, что посетителей в дни суворовского запоя ходит больше, чем обыкновенно, что Суворов играет почти без передышки, и заработанные деньги обязательно оставит в его, лодочниковском, буфете.

Ночью, посде закрытия „Саратова“ Суворова увозили куда-нибудь играть.

В такие дни только один человек страдал и боялся за Суворова. Это — тетя Паша.

Работа валилась у нее из рук. Целыми днями она теплила лампадки в своей и суворовской комнатах.

А по ночам видела страшные сны: Суворова убивают грабители, раздевают, забирают гармонию.

III

Как-то на пасхальной неделе, Суворов, скуки ради, перечитывал тетрадь, озаглавленную: „Различные мысли и сочинения Евгения Никаноровича Суворова, составленные в минуту жизни трудную, а также в часы досуга“.

Дойдя до любимого стихотворения: „Течение моей жизни“, он закрыл дверь на задвижку и, стоя перед зеркалом, начал читать вслух:

Моя фамилия Суворов
Евгений Никанорыч — по отцу,
Сейчас я без особых сборов
О своей жизни сообщу.
Как бесподобный музыкант
Я и жетоны получал,
И повсеместно каждый граммофон
Мои польки исполнял.
И вот хочу определенно
Жизнь стихами описать,
Как жил роскошно, а иной раз скромно,
Но не хочу себя я выдвигать.
Я не какой-нибудь святой, конечно,
Живу, кучу, бываю даже пьян,
Но мой успех, друзья, пред вами обеспечен
Пока со мной мой друг — „баян“.

Артистически раскланялся перед зеркалом, приложив тетрадь к груди. Отыскал еще стихотворение: „Миноры любви“ и, томно закрыв глаза, с чувством прочел первую строчку:

Я люблю миноры нежной ласки...

Стук в дверь заставил его прервать чтение. Поспешно спрятал тетрадь в ящик комода.

Застучали громче, нетерпеливее.

— Секунду терпения!

Суворов оправил на комоде кружевную салфетку, потом уже отворил дверь.

Гостями оказались: старый знакомый, Чайкин, бывший плясун хора песенников Травкина, и какой-то мальчик.

— Павлуша, друг! Сколько лет, сколько зим! — воскликнул Суворов, целуясь с приятелем.

Чайкин снял фуражку, вытер платком лысину, обвел глазами комнату.

— Я думал, ты с барышней заперся.

Обернулся к пареньку:

— Садись, Евся! В ногах правды нету!

Тот сел на краешек стула, содрал с головы кепку, пригладил светлые волосы.

— Родственник? — кивнул на него Суворов.

— В роде Володи, на манер серой лошади! — ответил Чайкин, морщась и старательно вытирая потную рубцеватую шею.

— Ты все такой же балагур, Павел Степаныч! — засмеялся Суворов.

— Слушай, Женька! — сказал вдруг Чайкин серьезно, — не будем зря лясы точить. Есть, так сказать, конкретное предложение. Этот, вот, парнишка — мой двоюродный племяш. Мальчик не балованный. Не пьет, не курит, к девочкам не приучен. Хочу пустить его по своей старой специальности. Занимался с ним полгода. Еще несколько уроков и будет плясать, как бог. Да чего? Ты, Женя, исполни „Барыню“ или что там такое, а он спляшет. Можно в кухне, там места много.

Мальчуган быстро поднялся, расстегнул пиджак, выставил правую ногу, подпер левой рукой бок.

Суворов слегка дотронулся до руки Чайкина и заговорил мягко, но убедительно:

— Извиняюсь! Разрешите внести фактическую поправку в только что внесенное вами предложение. Дело в следующем: оценивать талант юного артиста нет надобности, так как из твоей речи, Павлуша, видно, что

он является твоим непосредственным учеником, следовательно, ты как спец в данной области несешь ответственность за свои слова. Рассматривать же работу молодого человека через призму праздного любопытства предоставим массе, не посвященной в тайны артистического мира.

Он медленно поднялся, оперся о стол руками, прищурился.

Подумал о себе, что похож на оратора. Продолжал, силясь придать голосу оттенок величественной грусти:

— Дорогой товарищ! Вам более, чем кому-нибудь известно, что под мою „Барыню“ и „Во саду ли“ выступали как вы сами, так и другие индивидуумы, яснее говоря: ваши товарищи по профессии. Не будем останавливаться на многих именах, огласим наиболее громкие: Сеня Приветов — классический исполнитель „Трепака“, „Казачка“ и тому подобных танцев, гастролировал со мною по городам, расположенным на живописных берегах Волги. Вкратце, назовем хотя бы Нижний Новгород. Затем, под мою игру покойный Бархатов, Сережа, пожинал лавры здесь, в северной столице, в частности, на сцене Петровского парка. Наконец, опять же благодаря мне, на ирбитской ярмарке взошла звезда несравненного, тоже покойничка, Игнаши Плюхина. Впрочем, комментарии излишии. Я думаю, имя Суворова само говорит за себя.

Он отошел от стола, засунув руки в карманы шаровар.

— Постой, Женька! — сказал, воспользовавшись паузой, Чайкин, но Суворов, приятно улыбаясь, сделал предупредительный жест рукою:

— Извиняюсь, дорогой товарищ! Я еще не кончил. Итак, перед нами молодой талант! Прекрасно! Но покажите мне его при свете рампы, оденьте его в костюм, соответствующий моменту. Нельзя же так: „Сыграй, мол,

Женька, а он спляшет!“ Что за кустарное производство? Что за обывательский подход?

Продолжал с неподдельной горечью:

— Эх, Чайкин, Чайкин! Все эти дефекты происходят оттого, что ты отошел от общего дела. Сам неоднократно заявлял, что занимаешься уже давно сапожным ремеслом и, мало того, даже считаешь его своей основной профессией. Стыдно, милый, так опускаться! С гордостью могу сказать о себе, что лишь один я из всей стаи славных по-прежнему незыблемо стою на страже изящного искусства.

Ласково погладил лежащую на стуле гармонь, сказал с дрожью в голосе.

— Никогда тебе не изменю, подруга дней моих суровых, голубка дивная моя!

Подмигнул и добавил уже весело и не без бахвальства:

— Можем, друже, блеснуть красноречием, а? Видишь, и литературкою, где надо, щегольнули, стишатами, елочки зеленые! Не сердись, Павел, обыватель мой разлюбезный! За прошлое я тебя ценю и уважаю.

Погладил Чайкина по плечу так же ласково, как только что гладил гармонь. Тот стряхнул его руку, сказал раздраженно:

— Чорт тебя знает, Женька! Что ты за человек! Я еще рта не успел раскрыть, а он уже залился курским соловьем. Да пойми ты, чудак-рыбак, что я привел Евку вовсе не плясать. Я же тебе определенно сказал, что имею конкретное предложение. А ты мне поешь арию французского напева. Голова с мозгами!

Суворов пожал плечами, произнес сухо, официально:

— Потрудитесь внести ваше конкретное предложение, уважаемый товарищ!

Обратился к пареньку, стоящему все в той же выжидающей позе, с рукою, упертой в бок.

— Сядьте, милейший! Демонстрирование танцев пока не предполагается.

Мальчик сел. Лицо его из розового стало пунцовым. Суворов сказал ласково:

— Вы дорогой, не смущайтесь! У нас с Павлом Степанычем специальная беседа. Так сказать, прения сторон на почве профессиональных разногласий.

Мальчуган покраснел гуще, затеребил кепку.

Чайкин нервно заговорил.

Суворов слушал внимательно. Понял из слов Чайкина, что тот предлагает выступить с его племянником. Последний в качестве плясуна.

— Дело, брат, верное! Вдвоем вы можете не только в трактирах, но и в театрах работать, да и опять же по городам на гастроли. На одну гармозу, и то идет публика, а ежели с пляскою — пачками повалит. Особливо, в провинции.

Суворов взволнованно заходил своим мелким, танцующим шагом.

— Это, дорогой друг, абсурд! Я исключительно одной своей игрою влияю на окружающую среду. Кто в театрах танцовал мою „Чародейку" или „Лесные ландыши"? Никто! А найди хоть один граммофон, который бы их не исполнял. Мне приятель рассказывал — слышал мои „Лесные ландыши" в трактире, чуть не на самом Северном полюсе, ну, да, — в Архангельске. Завели, говорит, граммофон. Тьфу, говорит, мать честная, женькины „Ландыши".

Продолжал задумчиво и как бы с грустью:

— Такая судьба всех знаменитостей. Вот, Пушкин, писатель, когда-когда помер, а книжки его и посейчас существуют. Сам недавно читал. Так и мы сейчас, вот, беседуем, а где-нибудь, за границею, граммофоны исполняют мои польки. Буржуазия, поди, массу граммофонов за границу-то повывезла.

Вдруг оживился:

— Слушай, Павлушка! Скажем, в Париже: шумит это, ночной Марсель, т.е. река такая, в роде как у нас Нева. Автомобили, это, экипажи, огни фонарей. А в ресторане, по-ихнему — ресторан — отель-де-Пари, сидит, скажем, парочка: он и она. Определенно, французы. А граммофон исполняет мою „Чародейку“. Она — кавалеру: „Ах, какой шикарный фокстрот!“ А шестерка, по-ихнему, понятно, гарсон: „Ничего подобного, мадам-с! Это не фокстрот, а полька „Чародейка“ знаменитого русского гармониста Евгения Суворова“.

Суворов хлопнул руками по коленам, шумно засмеялся:

— Га-а! Га! Елочки зеленые! Ловко? Га-а!

И мальчуган широко улыбнулся, блестя светлыми зубами и румянцем.

Только Чайкин досадливо сплюнул:

— Тьфу, бóтало! Прости господи! С тобой, Женька, честное слово, нельзя вести деловые разговоры. Брось ты свои граммофоны. Граммофоны и публика — две большие разницы. Публике давай не только для уха, а и для глаз. Как ты превосходно ни играй, но если еще разнообразить репертуар пляскою — это уже плюс.

Суворову нравилось предложение Чайкина.

Он сам недавно искал хорошего плясуна, но сейчас „выдерживал марку“. И потому сказал серьезным деловым тоном:

— Твоя идея, Павел, мне совершенно ясна. Но мне нужно время обмозговать ее. Взвесить все„за“ и „против“, понял? А молодой человек тем временем закончит полный курс. Если соглашусь — извещу письменно. Адрес тот же? Прекрасно.

Провожая гостей, добавил:

— Принципиально я согласен, но необходимо выполнить некоторые формальности.

IV

Есть люди, придающие огромное значение самым пустяшным своим поступкам и действиям.

Кажется, чихнут — так и то словно сделали всемирное открытие.

К таким людям принадлежал и Суворов.

Бывало, во время попойки кто-нибудь заметит:

— Я думал, ты, Женя, и пить-то разучился. А ты хлещешь, куда с добром.

Суворов наполнял стопку пивом, выпивал, не отрываясь, чмокал донышко, затем победоносно оглядывал присутствующих.

— Учитесь пить у Суворова! Молодые еще, елочки зеленые!

Выпить стопку пива без отдыха мог не только каждый из его собутыльников, но и любой непьющий, женщина, мальчик, но Суворов искренно не замечал того, как люди делают то или другое.

Что мог он, того никто, как ни ершись, не сделает!

А если уж в пустяках проявлялось это его самохвальство, то в серьезных делах оно переходило всякие границы.

Так, он вполне искренно был уверен, что все те знаменитые плясуны: „классический“ Приветов и прочие, своею знаменитостью обязаны исключительно ему.

Конечно, музыка и пляска между собою тесно связаны, но если человек не только плясать, а ходить не умеет — спотыкается на ровном месте, — тут хоть засыпь его деньгами и дай музыкантов всего мира — все равно ни „Барыни“, ни „Во саду ли“ не получится.

Этого-то Суворов и не понимал.

Не раз распространялся в кругу друзей:

— Под мою „Барыню“ корова на льду „сдробит“, а ежели исполнить что-нибудь сердечное, например, на

сибирский манер „Голубòчка“ или в сплошном миноре и при аккордном равновесии вальс „Муки любви“, — тут не только человек, а, можно сказать, дредноут, и то заплачет. Мой закадычный друг, писатель Коленкин Евгений Орестович, от пустяков рыдал, бывало, в „Лиссабоне“, зазовет в кабинет: „Тёзка, сотвори „Сама садик я садила!“ Ну, я, определенно, разведу, а он — расстраивается. Схватит стакан или иной соответствующий предмет и об пол. Девиц прогонит, а сам рыдает.

Из всех гармонистов Суворов считал равным себе лишь своего учителя, Костю Черемушкина, да и то, возможно, потому, что того уже не было в живых — кончил самоубийством, или, как образно выражался Суворов: „погиб на коварном фронте любви“.

Память покойного Суворов чтил: наблюдал могилу; ежегодно в день трагической смерти Черемушкина, если был при деньгах и не в загуле, обязательно служил панихиды; особенно близким друзьям показывал большой фотографический снимок красивого черноглазого парня с прическою — „бабочкою“ и с двумя рядами жетонов на груди.

— Мой коллега, Черемушкин Костя, — говорил Суворов с важностью, — человек был всех мер и бесподобный игрун в свое время, в роде как теперь я.

Портрет у него хранился в ящике комода.

— Ты бы — в рамочку, да на стенку, — замечал кто-нибудь из гостей.

— Не к чему, — сухо говорил Суворов, — всякий станет глаза пялить.

— Ну так что же? А как же памятники? Все их видят.

— Это тоже неправильно, — почти сердито отвечал Суворов. — Изображения знаменитых людей надо уважать и показывать тому, кто достоин.

Вероятно исходя из этого соображения, он и свою фотографию хранил вместе с портретом Черемушкина в ящике комода и почти никому не показывал, хотя злые

языки утверждали, что Суворов не показывает своего портрета потому, что у него там всего четыре жетона, к тому же один даже и не за игру, а солдатский, „за отличную стрельбу“, тогда как у Черемушкина жетонов — плюнуть некуда — вся грудь увешена.

Чайкин не дождался суворовского письма — сам прислал к нему племянника с запискою, в которой предлагал Суворову выступать с Ёвсей в ресторане, находящемся в центре города.

„Я на всякий пожарный случай согласился от твоего имени, — писал Чайкин: — Если откажешься — придется искать кого попало. Только, Женя, прошу тебя как стариннего друга и товарища — соглашайся. И сам не будешь в обиде и меня выручишь. А то мальчишка зря болтается без дела“.

Прочтя записку, Суворов обратился к мальчику:

— А вы, молодой человек, полный курс прошли?

Мальчик приподнял тонкие точно нарисованные, брови, глаза округлились — стал похожим на куклу.

— Чего это?

— Ну... дядя ваш закончил преподавание танцев? — пояснил Суворов.

— Не знаю. Он говорит, ежели вам желательно, — я могу сплясать, чтобы вы, значит, видели, — проговорил мальчуган звонкой скороговоркою.

Суворов усмехнулся:

— Чудак ваш дядя! Такие дела с молотка не делаются. Пусть придет, ну, хоть завтра, совместно с вами. Сговоримся, обсудим: как и что, приведем, так сказать, все к одному знаменателю, а тогда уже и репетиции. Так и передайте ему.

— Уж вы лучше ему напишите, — попросил мальчик.— А то я позабуду. Как его? Знаменатель, что ли?

Он конфузливо улыбнулся.

Суворов, вздохнув, подошел к комоду, достал лист бумаги и розовый конверт.

Подумал, что деловые письма должны быть кратки и официальны. И написал:

„Многоуважаемый Павел Степаныч! Всесторонне взвесив ваше предложение, всецело присоединяюсь, в виду чего предлагаю вам завтра, в воскресенье, от 1 ч. до 2-х дня явиться ко мне совместно с племянником для обсуждения наболевших вопросов, касающих вышеизложенного предложения. Присутствие вашего племянника необходимо с точки зрения демонстрирования танцовальных номеров и тому подобное. Остаюсь известный вам Евгений Суворов“.

На конверте вывел крупно и неровно: „Павлу Степанычу гражданину Чайкину“. Подумал и надписал полный адрес, причем особенно старался над словом „Ленинград“ и буквами: „В. н.“

Вручая письмо мальчику, сказал:

— Это вот „ве“ и „нэ“ обозначает: „весьма нужно“. Поняли? Так и передайте дяде, что весьма, мол, нужно.

V

На другой день Суворов и Чайкин быстро пришли к соглашению. После переговоров Чайкин сказал:

— Ты в своем „Саратове“ целый вечер басы жмешь, а там за те же деньги сделаешь четыре номера: два сам по себе, да два с Ѐвсей и — кум королю. Да и место все-таки публичное. В центре. Вот что главное!

На эти слова Суворов равнодушно отвечал:

— Работы там, определенно, меньше. А что касаемо центра, то это мне все равно. Меня, милый, рестораны не удовлетворяют. Мне театр нужно, рампу. Турнэ во всероссийском масштабе.

Слово „турнэ“ он услыхал на-днях в „Саратове“ от какого-то пьяного, не то куплетиста, не то музыканта.

Довольный тем, что удалось применить это новое красивое слово, а главное — состоявшейся сделкою, Суворов весело сказал Чайкину:

— Погоди, Павел Степаныч! Расправим старые орлиные крылья и опять раздуем кадило, Суворов еще прогремит в светлом будущем, елочки зеленые!

Обратился к племяннику Чайкина, который, готовясь к репетиции, переодевался в принесенной им костюм плясуна.

— И вас, молодой человек, вытащим из обывательского болота и поставим на благородную почву.

Обернулся к Чайкину:

— Хорошо, Павлуша, что догадались костюмчик захватить, поднимает, знаешь, настроение.

Чайкин оживился:

— У меня, браток, все делается на чистоту. Товар — лицом.

Он быстро подошел к племяннику, взял из его рук шапку с павлиньими перьями, сам надел тому на голову, подвел мальчика к Суворову:

— Ты, Женя, обрати внимание каков экземпляр-то, а? Ты посмотри: форменный русский красавец. Кровь с молоком. И ростом приличный. Ведь всего шестнадцать пареньку-то. И телом, гляди, аккуратный: не толстый и не заморыш. Мяса и всего прочего в нормальном количестве.

Он словно продавал племянника:

— Смотри грудь. Двое суток плясать будет и не задышится. А ноги, икры-то. Резина!

— Все это — второстепенно, — возразил Суворов, — главная суть, Павлуша, — талант. Плюхин, Игнаша, сам знаешь, был мелкого калибра и плюс — беззубый, а плясун какой, а?

— Не любил я игнашкину пляску, — нахмурился Чайкин.— В цыганщину впадал, а это для русского танца не модель. И наружного вида не имел Игнашка. А это тоже плохо. Ничего, по-моему, у него не получалось!

— Не получалось, — усмехнулся Суворов. — Триста пятьдесят мы с ним в один вечер на ярмарке на ирбитской у купцов заработали!

— Можно и за стакан семечек тыщу заплатить. У денег глаз нету! — сказал Чайкин и быстро добавил, боясь, очевидно, что разговор затянется. — Ну ладно, Женя! Игнашка сгнил давно, шут с ним! Начнем, что ли? Время-то уж много.

— Пожалуй начнем, — согласился Суворов.

— Ну-с, Евсей Григорьич Коноплев, — шутливо сказал Чайкин, обращаясь к племяннику.— Приготовьтесь к экзаменту.

В кухне, куда перешли все трое, был уже накрыт стол. Это Суворов по случаю коммерческого дела позаботился о выпивке и закуске.

Тетя Паша сидела у стола, подперев рукою щеку.

Повимому, ждала, когда Суворов и гости усядутся закусывать.

Евся вышел на середину кухни, встал, немного отставив правую ногу.

Белый и румяный, тонкобровый, большеглазый, в плисовой безрукавке, голубой рубахе, в нестерпимо-сверкающих сапогах был он похож на большую дорогую куклу.

Тетя Паша не удержалась, вскрикнула, всплеснув руками:

— Вот красавчик-то! Господи, царь небесный!

На что Суворов заметил с неудовольствием:

— Повремените, уважаемая, выражать интимные чувства. Сейчас у нас предстоит дело серьезной важности.

Обратился к Чайкину:

— С „Во саду ли“ начнем?

— Определенно, — кивнул тот.

Суворов в быстром переборе проиграл второе колено песни и тотчас же заиграл первое — в медленном отчетливом темпе.

Евся легко вскинул правую руку к шапке, левую — на бедро.

— У — лыбка! — четко сказал Чайкин.

Румяные евсины губы раздвинулись. Блеснули белые зубы.

Евся пошел кругом как бы нехотя, слегка шаркая.

— Выходка приветовская, ленивая, замечаешь? — зашептал Чайкин на ухо Суворову.

Тот неопределенно пожал одним плечом. Заиграл чаще, отчетливее.

Евся пошел быстрее, легче. Как по воздуху. Шарканья не стало слышно.

Потом, сразу, мелко задробили каблуки.

И снова бесшумно выбрасывались в стороны ноги в светлых сапогах. Плели невидимую веревочку в такт плетеным серебряным голосам гармонии.

Голоса гремели громче, торопливее. Порывисто и густо вздыхали басы.

И юный плясун словно мужал с каждым новым звуком: сильно и смело отрывались от пола ноги, не хотели опускаться на него, хотели пройти над землею, оторваться от нее совсем и носиться свободно и смело, как носятся звуки.

Музыкант шевелился на стуле. Резче, нетерпеливее дергал гармонь.

Расплетались, заматывались и снова расплетались невидимые серебряные нити. И вдруг, оборвалась тонкая нить — прокатился последний звук и умолк.

И одновременно с ним замер, с застывшею на лице улыбкою, плясун, держа в откинутой руке шапку.

Но Суворов тотчас же прокричал:

— Играю „Барыню“!

Сначала вкрадчивые, лукаво-веселые звуки, как затаенный девичий смешок, затем пьянящий, беззастенчивый смех властной женщины.

Евся лихо дробил, четко и отрывисто семенил ногами. Легко несся в разгульном плясе.

Чайкин, стоя рядом с Суворовым, тоже выстукивал каблуками дробь. Хрипло выкрикивал:

— Евка! Чечетку — чище!

— Пистолетика — короче!

Хлопал в ладоши, ожесточенно потирал ими:

— Эх, мать-Вазуза, не потопи города Саратова, э-эх!

Музыка и пляска сплелись в один пестрый клубок удали и веселья.

И не понять было, что над чем царит.

Казалось, не пройди плясун в легкой и мощной, мягкой и дерзкой присядке, остановись он — замрет музыка. Умолкнет музыка — недвижным станет плясун.

И замерли одновременно музыка и пляс.

И опять застыл, с прежней румяной улыбкою, с откинутой в сторону рукою, плясун. Торжествующий и приветливый.

Суворов поставил баян на пол, рядом со стулом. Слегка забарабанил пальцами по столу.

Чайкин сел к столу, искоса пытливо поглядывал на него.

Тетя Паша улыбалась, утирая умильные слезы, и, не спуская глаз, смотрела на Евсю, старательно затягивавшего развязавшийся крученый, с кистями, пояс.

Вдруг Суворов быстро поднялся с места.

— Ну? — не вытерпел Чайкин.

Суворов подошел к Евсе, все еще занятому поясом, обнял его и поцеловал три раза, точно христосуясь.

Затем, подойдя к взволнованному, удивленному Чайкину, так же трижды облобызал и его.

— Женя, ну чего ты? — смущенно и растроганно спросил Чайкин.

Суворов промолвил дрогнувшим голосом:

— Бархатов, Сережа, имея восьмилетний стаж, хуже плясал... Больше ничего не имею сказать!

VI

Ресторан, куда Суворов, по рекомендации Чайкина, нанялся играть, более, чем какой-нибудь окраинный „Саратов“, напоминал плохой трактир царского времени.

Чадный, неуютный зал кишел пьяными посетителями: сезонниками, накрашенными девицами, молодыми людьми с ухарскими зачесами и разухабистыми манерами.

Владельцем ресторана оказался старый знакомый Суворова, Петр Петрович, по прозвищу Баран.

Когда-то, в дни суворовской юности, он был скотским барышником, а также содержал артель шулеров, играющих в „три карточки“ и в „ремешок“ в местах народных гуляний. Суворов вспомнил, что тогда не раз видел в Екатерингофском парке Барана в тарантасе, запряженном белогривою шведкою, объезжающим стоянки своих игроков.

Теперь на Суворова неприятно подействовало, что Баран притворяется ничего не помнящим.

— С братом вы меня смешали, не иначе. Никаких я коров отродясь не продавал, — говорил Баран, звеня деньгами в кармане брюк. — И в Екатерингофе, кажись, никогда не бывал.

Зевнул и добавил:

— Впрочем, раза два был. Представления ходил смотреть.

— Так вот я на сцене-то и выступал тогда. Неужели не помните? — спрашивал Суворов. — И в „России“, на Обводном, вы сколько раз меня играть нанимали.

Но Баран стоял на своем:

— Ничего этого не помню. Ошибаетесь вы. Обознались, я так думаю. Тем паче, что гармонию я не обожаю.

Но особенно смущало и раздражало Суворова отношение к нему публики.

Всех исполнителей она принимала хорошо, даже старательно хлопала концертному трио, играющему весь вечер, а он, Суворов, получал неоткровенные жидкие аплодисменты.

Не поднимали настроения публики даже „Чародейка“ и „Лесные ландыши“.

Евся же, так же, как и автор-юморист Лесовой-Зарницын, выступал всегда на бис.

Евся с первых дней стал пользоваться всеобщим успехом, перезнакомился со всеми постоянными посетителями.

То один, то другой из гостей приглашали его к столу, заказывали для него что-нибудь в буфете.

К концу вечера он так наедался пирожков и бутербродов, что отказывался от новых угощений, разве только выпьет стакан лимонада.

— Ты смотри, с девочками осторожнее. Ведь это никто иные, как падшие феи, проституция, — как-то сказал Суворов Евсе, — и парни тоже шпана, хулиганье.

— А мне чего, — улыбнулся Евся, — Лидка мне пирожного взяла, а тот, вот, Колька, все уговаривает водку пить, а я заместо водки лимонад требую.

Во время этого разговора подошел тот самый Колька, о котором только что говорил Евся.

— Товарищ-гармонист, — задышал он на Суворова пивом, — ты, вот, Коноплева почаще выпускай. Мало он у тебя пляшет. Ты бы сам поменьше играл. А то разведешь из оперы: „Богородица, дева, радуйся“ или „Как чорт шел из неволи“, так прямо блевать тянет, честная портянка!

Суворов опешил. Смог только произнести задрожавшими губами:

— Гражданин! Прошу без замечаний, елочки зеленые!

Парень махнул рукою, сказал с досадою:

— Тьфу, в бога мать!..

И отошел, задевая за стулья.

Евся стоял, красный до слез. Избегал смотреть на Суворова.

Взволнованный Суворов ушел в „артистическую“ — маленькую, грязную и холодную, как сарай, комнату, заходил там на танцующих ногах:

— Елочки зеленые! Еще центральный ресторан называется. Убежище воров и проституток!

— Вы, коллега, прямо в точку попали. Здесь самый цвет Лиговки и Обводки! — пробасил автор-юморист Лесовой-Зарницын, пудрясь перед разбитым зеркалом.

Узнав, чем возмущен Суворов, он сказал, как бы с разочарованием:

— А, вот в чем дело! А я думал, что у вас карман вырезали или баян уперли. Это, коллега, чепуха! Я первое время тоже кипел негодованием, а теперь, за три года, привык.

— Я, уважаемый товарищ, не три года играю, — еще больше кипятился Суворов, — я еще в эпоху царизма неоднократно награждался жетонами. Мои произведения до сих пор исполняются граммофонами в Париже, елочки зеленые! Под мою игру не мальчишки плясали, а такие имена, как Приветов и Плюхин. А это, уважаемый товарищ, не сопляки были, не Коноплевы, а классические исполнители русской пляски.

Напудренное лицо автора-юмориста стало грустным. Он взял руку Суворова в обе свои тонкие, костлявые руки, заговорил умоляюще:

— Милый, голубчик! Напрасно обижаете мальчугу. Он очаровательно пляшет. Огромный талант! Самородок! Его

бы в балетную школу. Эх, милый мой! Да вы же сами знаете! Он затмевает вас, простите меня за откровенность!..

Эти слова поразили Суворова сильнее, чем недавняя выходка хулигана Кольки.

— Затмевает? — прошептал Суворов почти с ужасом.

Но в этот момент заглянул в дверь Евся:

— Евгений Никанорыч! Сейчас — нам! Певица кончила!

Выходя в зал, Суворов столкнулся в дверях с певицею и не извинился.

„Затмевает“, — думал он, — „затмевает“.

Действовал, как во сне.

Не видя Евси, стоящего на ступеньке эстрады, поднялся на эстраду, взял в руки баян.

„Затмевает“, — снова подумалось.

Вместо... „Во саду ли“, заиграл „Ах, вы, сени...“

Очнулся, когда услышал евсин шопот:

— Евгений Никанорыч! Не то! „Во саду ли“.

И еще чей-то насмешливый пьяный голос:

— Затерло Суворова с пирогами!

VII

— Сыграйте что-нибудь трогательное.

Суворов с некоторым удивлением посмотрел на ресторанную продавщицу пирожков и приятно улыбнулся:

— Что же именно? Вальс „Муки любви“ или „Разбитое сердце“? Очень нежные вещи.

— Сыграйте и то, и другое.

— С восторгом, уважаемая Зоичка.

Суворов поднялся на эстраду.

Быстро и ловко расстелил на коленях свою бархатную с золотым шитьем подстилку, перекинул через плечо ремень баяна.

Играл с чувством и старательно: с вариациями и аккордами.

Волновался. Но сидел, как всегда, неподвижно. И выражение лица было пренебрежительное.

После игры подошел к девушке, сидящей за официантским столиком, спросил небрежно:

— Ну-с, как? Понравилось?

— Мерси. Очаровательно!

Суворов пристально посмотрел на девушку. Серые глаза ее с пушистыми ресницами были серьезны и грустны.

Сказала тихо:

— Мне ужасно нравится баян. Особенно, когда хорошо играют.

Суворов достал из кармана шаровар портсигар, предложил девушке папиросу. Она отказалась.

Сказал тем же небрежным тоном:

— Музыку редко кто чувствует. Надо иметь абсолютный слух, чтобы правильно реагировать.

— Вы очень хорошо играете.

— Мерси за похвалу.

Суворов сделал длинную затяжку, прищурился:

— Как будто умею играть.

— Мне ваш приятель, Коноплев, говорил, что вы были известный гар... музыкант.

Суворов затеребил в зубах папиросу:

— Был! Что за странный вопрос? И в настоящее время моя слава гремит по всей России. Поезжайте, например, в Ирбит или в Нижний...

Далее пошел рассказ о „классических" плясунах, о его, суворовских, жетонах и польках.

Зоичка спокойно и грустно смотрела на Суворова, потом взяла со стола поднос:

— Извиняюсь. Мне нужно за пирожками.

С этого дня Суворов каждый вечер, в свободные часы, беседовал с Зоичкою. Вернее, говорил он, а она слушала.

Рассказывал о себе, как он смалолетства имел влечение к музыке, и как его драл за это отец, о Черемушкине.

— Игрун был покойничек — бесподобный. От рождения — левша. Так он, верите или нет, в гармонии планки переставил — приспособил, одним словом, для левой руки. У него я и обучался, а потом уже сам усовершенствовался.

— Я ужасно завидую талантам, — спокойно говорила Зоичка. — А у меня никакого таланта нет. Ни на чем не играю и не пою.

— Играть на баяне для женщины — необязательно, — поучительно говорил Суворов. — В женщине как в таковой преобладают красота и нежность. Поэтому она должна вдохновлять знаменитостей. Короче говоря, содействовать искусству.

— Красоты у меня тоже — никакой, — грустно улыбалась Зоичка. — А знаменитости разные на меня и смотреть-то не захотят.

— Как сказать, — загадочно улыбался Суворов.

Зоичка брала поднос с пирожками и тихо шла через зал, останавливаясь у столиков.

Суворов мечтательно смотрел ей вслед и думал:

„Славная девица! Кокетка только, тихонькой прикидывается, елочки зеленые!“

Уходили домой вместе: он, Евся и Зоичка.

Недалеко от ресторана, у трамвайной остановки, прощались с Зоичкой.

Суворов задерживал ее руку в своей, говорил нежно:

— До завтра.

Она опускала глаза:

— Пока.

Евся шалил: сжимал ее руку так, что она вскрикивала, или, когда уже подходил трамвайный вагон, — не пускал ее садиться:

— Обожди, Зоя. Завтра уедешь.

Вообще, отношение его к Зоичке не нравилось Суворову: обращался, как мальчишка с мальчишкою.

— Фимильярности у тебя много, — замечал ему Суворов, — с барышнями так нельзя, как ты с ней.

— Кислая она какая-то, — смеялся Евся, — боится всего. Будто стеклянная. Того и гляди — разобьется.

— Нежная, а не кислая, — хмурился Суворов и прибавлял наставительно, — о женщинах тебе, брат, еще рано рассуждать. Надо сначала приобрести опыт, специальность.

— Я ничего не говорю, — недовольным тоном отвечал Евся. — Я только насчет Зойки, что не нравится она мне.

Суворов молчал. Ему почему-то было по душе это евсино признание.

VIII

Слава Евси Коноплева росла с каждым днем.

Он стал любимцем не только пьяных завсегдатаев ресторана, но и сам бесчувственный Баран, вечно занятый загадочными делами с какими-то трезвыми немолодыми людьми, и тот усердно аплодировал плясуну, тогда как остальных исполнителей, не исключая и автора-юмориста, совершенно не замечал.

Только Суворов равнодушно относился как к успехам своего партнера, так и ко всему, что вокруг происходило.

Выступая соло, он с необыкновенным чувством исполнял или мечтательные вальсы „Муки любви“ и „Разбитое сердце“, или „Аргентинское танго“ и „Шимми“ — словом все, что просила Зоичка.

И покидал эстраду, не заботясь о том, какое впечатление произвела его музыка на публику.

А самого Евсю собственный успех не радовал, а огорчал: на бис он выступал неохотно, а однажды вызванный в четвертый раз категорически отказался плясать.

— Ну, Коноплев, вали голубок, э-эх! — подмигивал Баран. — Покажи им свою храбрость! Слышь, как требуют?

— Ну их к чорту! — рассердился Евся. — Они всю ночь будут требовать, а я пляши? Какие симпатичные! Им все равно пиво-то лакать, а у меня ноги не казенные.

С первых дней близко сойдясь со многими посетителями, он также быстро стал избегать общения с ними.

— Ты, кажется, своей судьбой не доволен. Смотри, сколько заимел поклонников и поклонниц, чего тебе еще надо? — иронизировал Суворов.

Евся угрюмо отвечал:

— Ну их! Нешто это люди? Барышни все как есть шлюхи подпанельные, глупости разные болтают, а парни: „Пей да пей!“ Я в деревню уеду, — неожиданно говорил он.—Надоело. Здесь пляши! Дома дядя в футбол не дает играть: „Ноги, мол, мучаешь“. И босиком ходить не велит: „Порежешься, — говорит, — тогда как плясать-то будешь?“

— Это он правильно, — замечал Суворов.

Евся смотрел на него обиженными глазами:

— Правильно! Сам он, небось, плясал-плясал, а теперь сапожником заделался.

— Твой дядя — чудак, — хмурился Суворов,—он изменил святому искусству.

— Так что же, всю жизнь плясать, что ль? — насмешливо и сердито перебивал Евся,—этим всегда кормиться не будешь. Ремесло не подходящее.

— А как же в балете, — тоже сердился Суворов,—до седых волос пляшут и ничего!

Но Евся упорно стоял на своем:

— Это не работа. Надо работу настоящую сыскать.

— Сделайся сапожником, — усмехался Суворов,—с дядей на пару и стучите.

— Я бы с удовольствием, да он не желает.

Евся оглядывал свой костюм плясуна и говорил с искренней досадою:

— Нарядил, вот, будто дурака какого, клоуна! Эх, мать честная! В деревне бы кто посмотрел, засмеяли бы до-смерти, ей богу!

В другое бы время Суворов прочел ему целую лекцию о изящном искусстве, рассказал бы о классических плясунах, а также о себе и своем учителе, Косте Черемушкине, но теперь всем этим он делился с человеком, чутко воспринимавшим все нежное и изящное, с человеком, о котором только и думал и о ком писал недавно в белую ночь, душную и безмолвную ночь, какая бывает только на окраине, на берегу Негодяевки.

Правда, написано было всего несколько строк, но сколько было вложено чувства!

Полюбил я девушку чудную,
Она тоже влюбилась в меня;
У нее глаза нежные, грустные
Будто небо майского дня.

Дальше не клеилось. Но и эти четыре строки наполнили сердце Суворова нежной радостью, и он старательно вписал их в заветную тетрадь, озаглавленную: „Различные мысли и сочинения Евгения Никаноровича Суворова, составленные в минуту жизни трудную, а также в часы досуга“.

В любви Суворова к Зоичке была только одна большая горделивая радость, и совершенно отсутствовал элемент страдания.

Вероятно, оттого, что сам он был сильно уверен в ее любви. Да и какие могли быть сомнения?

Она завела с ним знакомство, ежедневно проводила с ним свободное время за официантским столиком.

А вечные просьбы сыграть „Муки любви“ или „Разбитое сердце?“

Это уже не намек, а почти полное признание в любви!

А грустные, страдающие глаза? Жалобы на ужасную тоску?

„Слишком много фактических данных, — радостно думал Суворов, — влюбилась девочка, определенно".

Но он не разобьет ее сердца!

Он уже решил сказать и свое слово, то слово, какого она ждала, страдая и надеясь, боясь и радуясь.

Но нужен подходящий момент и соответствующая обстановка.

Не в ресторане же, за официантским столиком, разбросать цветы любви?

По утрам Суворов особенно тщательно умывался, причесывался, жирно фиксатуарил усы.

По часу не отходил от зеркала.

Из зеркала на него глядело сорокалетнее помятое лицо, мутные пустые глаза, с водянистыми мешечками, рябоватый нос.

„Солидное лицо, — думал Суворов, — в роде, как у бывшего полковника".

Прищуривался. Откидывал голову. Слегка выпячивал губы и уже находил, что похож на артиста, на музыканта.

„Благородная внешность", — решал окончательно и шел в кухню, где тетя Паша гремела чайной посудою.

А однажды, за чаем, сказал тете Паше:

— Скоро, Парасковья Петровна, меня собственная хозяюшка станет поить чаем.

— Неужто женишься! — удивилась тетя Паша и даже бросила пить чай.

— Женюсь, — спокойно отвечал Суворов.

Тетя Паша, сгорая от любопытства, стала расспрашивать: как и что.

— Красавица, можно сказать, редкая, — важно говорил Суворов, — Зоичкой зовут, Зоя Васильевна. Нежная девица. Девятнадцатый год пошел. Чуткая душа. Влюби-

лась в меня до потери сознанья. Прямо, можно сказать, находится на пути к самоубийству. „На меня, говорит, такие знаменитости, как вы и смотреть-то не пожелают“.

Потер руки:

— Эх, елочки зеленые! Вот-то обрадуется, бедняжка когда я произнесу свое решающее слово!

И залился счастливым смехом.

IX

Дни стояли веселые, солнечные.

Солнечными были и мысли Суворова о женитьбе на Зоичке.

И уже близился момент, когда он должен сказать свое решающее слово.

В самом деле, Зоичка уж очень страдала. Это видно было по ее безнадежным глазам, обведенным тенями. Безнадежность слышалась и в голосе.

„Почему она не признается! — думал с досадою Суворов и решил: — девичий стыд не позволяет, определенно“.

Вспомнились слова девушки о том, что знаменитости и разговаривать-то с нею не захотят.

Становилось жаль ее и вместе было радостно.

„Не чует, елочки зеленые, что ей небесная манна изготовляется“.

И ласково, и таинственно говорил:

— Погодите, Зоя Васильевна, не волнуйтесь. Близится момент исполнения вашего желания.

Она вспыхивала, глаза загорались.

— А разве вы знаете мое главное желание? — взволнованно произносила она.

Суворов отвечал многозначительно.

— Комментарии излишни. Помолчим до наступления долгожданного момента.

И момент наступил.

Приблизили его обстоятельства.

Так было:

Однажды Евся в присутствии Суворова объявил Барану, что завтра уезжает в деревню.

И Баран, и Суворов удивились.

— С чего ты так, вдруг?

Евся спокойно рассказал, что получил письмо от товарища, который предлагал работать в совхозе.

— А какая работа-то? — спросил Баран.

— Известно, по крестьянству, — ответил Евся.

Суворов увел его в „артистическую" и долго разубеждал:

— Чудак. Имеешь талант и все данное для артиста. Потерпи. Скоро ринемся на Волгу, на Кавказ. Только вот справлю дела серьезного значения.

Под делами серьезного значения он подразумевал женитьбу.

Но Евся был непоколебим.

— А чего мне делать на Кавказе, да на Волге? Плясать? Спасибо. И здесь наплясался.

— А в деревне, в совхозе-то в своем, в навозе копаться будешь? — раздражался Суворов.

— Ну и в навозе! По крайности — работа. А пляшут только на гулянках, — насмешливо ответил Евся.

— Ну и копайся в навозе, елочки зеленые. Дураку талант достался!

— Сам ты дурак, — спокойно сказал парень и пошел производить денежные расчеты с Бараном.

В этот вечер Евся не плясал. Ушел, сухо простясь только с Бараном и Суворовым.

Суворову, игравшему по просьбе Зоички „Танго смерти", пьяные голоса из публики, кричали:

— Вали „русскую"!

— Плясуна даешь! Шкета!

А потом Баран, звеня в кармане деньгами и не глядя на Суворова, объявил ему, что так как плясун взял расчет, то гармонисту в ресторане делать нечего.

— А в сольном исполнении не нуждаетесь? — спросил Суворов, еле сдерживая гнев.

— Музыки у нас достаточно, сами видите. Скрипка и все прочее. К чему же еще гармошка?

— Не гармошка, а хроматическая гармония баян, уважаемый Петр Петрович, — внушительно произнес Суворов.

Баран сильнее зазвенел деньгами:

— Можно и пианиной назвать, а все равно та же гармошка останется. Неинтересный иструмент.

— Если вы хотите знать, то в гармонии сосредоточена музыка всех категорий, — закипел Суворов и добавил задрожавшими губами: К тому же играет на ней, в данном случае, профессор-самородок Евгений Суворов, елочки зеленые!

Но бесчуственного Барана не тронули даже такие веские данные.

Он откровенно зевнул и сказал с убийственным равнодушием:

— Суворов или Кутузов — нам все равно. А только гармошка без пляски — одна меланхолия. Пиликает-пиликает, а в чем дело — неизвестно.

После разговора с Бараном Суворов почувствовал непреодолимое желание сказать Зоичке „решающее слово“.

Провожая ее, как всегда, до трамвая, он мучительно думал: „А как сказать ей? Прямо: „люблю?“ Или назначить свидание, а к тому времени обдумать?“

Остановился на последнем.

— Хотелось бы увидеться с вами, Зоя Васильевна? — начал он, но она вдруг перебила:

— Я только что об этом думала. Знаете, Евгений Никанорович, приезжайте ко мне завтра вечером. Я в ре-

сторан не пойду. Хочу отдохнуть. Только захватите и баян. Хорошо? Поиграете, — она грустно улыбнулась.

— „Муки любви?“ — пошутил Суворов.

Лицо Зоички стало серьезным.

— Да, „Муки любви“.

X

— Вы раскаетесь, что пришли, — сказала Зоичка, когда Суворов вошел в ее маленькую чистую комнату с одинокой кроватью, с таким же, как у него, розоватым одеялом.

— Почему раскаюсь? — спросил Суворов, ставя гармонь на пол у дивана.

— Разговоры будут у меня невеселые.

— Развеселим! — сказал Суворов.

— Полькою „Чародейкою“, что ли?

И не понять, насмешка в голосе или грусть.

— Может быть, чем-нибудь другим.

— Вы всегда говорите непонятное.

— А вот разгадайте, чем я вас развеселю.

Суворов хитро улыбнулся. Зоичка посмотрела на него с удивлением. Затем опустила глаза, вздохнула, сказала задумчиво:

— Ничем.

Суворов прошелся по комнате, остановился у дверей, посмотрел на Зоичку.

Она сидела на диване, подобрав ноги. В гладком коротком платье, туго обтягивающем ее маленькую тонкую фигурку, с волосами, подстриженными челкою, она походила на мальчика.

„Изящная девица, миниатюрная“, — подумал Суворов.

Не торопясь начал:

— Дело, Зоя Васильевна, в следующем. Когда-то я говорил, что настанет время исполнения вашего желания.

— Помню, но...

— Извиняюсь! Момент этот близок...

Увидел ее изумленные, как бы испуганные глаза и тревожно подумал: „Нельзя так, сразу... Может губительно на нее подействовать“.

Улыбнулся, быстро сказал:

— Я шучу. Давайте говорить о чем-нибудь потустороннем. Или сыграть?

— Сыграйте.

Зоичка опустила глаза.

— Что же именно? „Муки любви“?

— Можете „Разбитое сердце“, — горько усмехнулась.

„Потеряла всякую надежду“, — подумал Суворов, перебирая басы.

Ему хотелось подойти к ней, обнять, рассказать всю правду: как он, непонятый толпою, великий артист, горячо ее любит, как с первой же встречи с нею понял, что им суждено вместе совершать великий жизненный путь.

Под его нервными пальцами дрожали голоса баяна.

„Шикарно играю. Плачет баян, прямо плачет!“

Суворов закрыл глаза. Вздрогнул.

Плакала уже не гармония, а кто-то живой.

Открыл глаза.

Зоичка сидела, уткнув лицо в ладони рук. Плечики вздрагивали.

— Зоя Васильевна! Зоичка! — воскликнул Суворов подымаясь с места.

— Иг... райте! — задыхаясь прошептала она, не отнимая рук от лица.

„Пусть поплачет — легче будет. Сердце отмякнет“, — подумал Суворов и снова закрыл глаза.

„Надо на непрерывных аккордах, в высоком тоне“.

Нажал несколько клапанов. Вздохнули басы.

И вдруг услышал голос Зоички.

— Евгений Никанорыч!

Стояла близко, в двух шагах. Смотрела странными не мигающими глазами.

Ему стало не по себе.

Быстро поднялся, не сводя с девушки глаз. Положил на стул баян.

— Где же ваш момент?

Голос ее прозвучал ровно и четко.

— Какой момент? — не понял Суворов.

— Момент, который... Ну, момент исполнения моих желаний! — голос уже был недовольный, нетерпеливый.

„Теперь пора! Больше ждать нечего!“

— Дорогая Зоя Васильевна! Когда я это говорил, я не смеялся. И теперь...

— Вы смеялись! Неправда! — вскрикнула он с отчаянием, — так смеяться — жестоко!

— Слушайте, Зоя Васильевна, Зоичка! — быстро заговорил Суворов. — Уверяю вас, я видел как вы страдаете, я боялся признанием нанести вам гибельный удар. Резкий переход от горя к радости может...

— Радости?

Глаза Зоички округлились.

— Радости? Какой радости? Да говорите же! Он... не уехал, да? — вдруг прокричала она так сильно, что Суворов вздрогнул.

— Кто не уехал? — с удивлением спросил Суворов.

И вдруг все понял.

— Ко... ноплев? — губы едва выговорили.

— А то кто же? — удивилась Зоичка.

Суворов, не отвечая, опустился на стул. Ноги дрожали. Похолодело в груди.

Зоичка что-то быстро спрашивала. Он, не понимая, глядел на нее. Слабость легкая и приятная охватила все тело.

Потом поднялся. Долго укладывал гармонь в футляр, Зоичка сидела в уголке дивана, бледная.

Испуганно смотрела на него.

Только на улице очнулся.

Остановился. Хотел вернуться, но потом быстро пошел вперед.

И шаги были не танцующие, как всегда, а дрожащие, порывистые.

Точно вот-вот сейчас побежит, мелко и дробно, по-стариковски.

А навстречу шли люди. Обгоняли люди.

И молодые из них: юноши, девушки и дети — все непонятно напоминали Евсю.

И еще почему-то казалось, что ему некуда итти. Помнил отлично свой адрес. И знал, что идет верным путем, но между тем ясно сознавал, что итти некуда.

А „они“ шли.

Было жарко, солнечно.

Многие из них почти полуголые, многие — босиком. Загорелые тела золотились от лучей солнца.

Вот посреди дороги — колоннами, с пением. „Почему они поют?“ — не понимал Суворов.

И все — смутно и непонятно напоминали Евсю Коноплева, плясуна, разбившего его жизнь.

Разбитое сердце.

Тихо поскрипывают подошвы мягких лакированных сапог, путаются полы темносиней поддевки.

„Опять забрал запой“, — подумала тетя Паша, когда Суворов, слегка пошатываясь, пришел домой.

Прошел к себе. Щелкнула задвижка.

А спустя несколько минут раздались звуки гармонии. Играл беспрерывно. Тихо и печально. И неуверенно, словно разучивал трудную песню.

Тетя Паша собрала чай. Постучалась к жильцу.

— Чай пить, Евгений Никанорыч!

— Не... надо! — не сразу пришел ответ.

И снова — печальная неуверенная музыка.

А потом — стихла.

Тетя Паша несколько раз подходила к дверям, прикладывала ухо.

„Спит“, — решила. Ушла к себе.

Ночью ей виделись страшные сны: Суворова убивают грабители. У самого мостика на Негодяевке. Он кричит истошным голосом. Кричит и она. Но никто не прибегает на помощь. И грабители режут его спокойно, не торопясь нанося удар за ударом.

Тетя Паша в страхе просыпалась. Прислушивалась. Но было тихо. Только жужжали мухи в душных углах. И тикал будильник.

Утром, отправляясь стирать, долго стучала к жильцу.

— Евгений Никанорыч!.. Я ухожу!.. Слышь ты? Ухожу?

Стучала кулаком, потом поленом, но за дверью было странно тихо.

Вышла на улицу. Подошла к окну.

Половинка рамы открыта. Занавески спущены.

— Евгений Никанорыч! — крикнула тетя Паша, — Евгений Никанорыч! Ухожу. Дверь за мной заприте!

И вдруг перестала кричать.

Ветер колыхнул занавеску, и так и осталась она отдернутой, зацепилась за носок лакированного сапога, повисшего над горшечком герани.

Тетя Паша смотрела на блестевшую на солнце лакированную кожу и ничего не могла понять.

Только сердце отчего-то замирало.

Ветер сильнее качнул занавеску.

На мгновение стало видно два лакированных носка, широко раздвинутые в стороны.

Где-то близко загремели колеса, и прокричал гнусавый голос.

— Мороженое!

Этот крик вывел тетю Пашу из оцепенения.
„Висит“ — вдруг прозвучало в ее голове.
— Ай! — тихо вскрикнула и отступила от окна.
Заметалась, побежала, не понимая, что надо делать.
И опять, уже дальше, уныло прогнусавил голос:
— Мо-ро-женое!..

Ленинград.
Январь — март, 1927 г.

РАСКОЛДОВАННЫЙ КРУГ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В доме Алтухова у многих были дети, но только Тропина переплетчика сынишка Андрюша один на языке у всех.

И мальчик-то, как мальчик, кажется, и говорить о нем нечего.

Ну, там у доктора Габбеля сынок Оскар, красавец на редкость — все так и звали „Краса-Королевич".

Это понятно. Кто красоты не любит!?

Или владельца овощной и хлебной Кузьмы Назарова Галяшкина Савося. Четырнадцати от роду, а весу четыре двадцать, в одном нижнем и без сапог.

Это понятно тоже. И неудивительно. Есть о чем поговорить.

Чудо-Юдо — так прозвал толстяка студент из двадцать третьего, Тихон.

А вот Андрюша-то что? В нем-то что особенного?

Габбелевской красоты в нем не было, хотя и не дурен: круглолицый, румяный, сероглазый.

Так ведь и у любого паренька, даже у самого простого вот из лавки, того же Галяшкина, у Пашки, лицо гораздо круглее и румянее, чем у Андрюши. И сероглазый тоже.

Далее: толстым таким, как Савося,— не был, а если для своих лет широк и мясист, а руки и ноги даже на диво крепкие, то опять ничего в этом нет замечательного.

У того же лавочного Пашки жиру-мяса хоть отбавляй. Идет — щеки дрожат, грудь — ходуном, а зад, что у барана откормленного, в перевалку.

И силы у Пашки больше, чем у Чуда-Юда.

Алтуховские ребята издали только Пашку и дразнят.

Ко всему этому и талантом каким Андрюша не выделялся.

Не музыкант какой, вундеркинд, не краснобай — философ малолетний — бывают такие! — вовсе не это.

Наоборот, шалун большой. И уличник.

Хлебом не корми, а побегать дай.

Обыкновенный малец, босоножка. С Пасхи до снега не обувается.

Тихон, студент из двадцать третьего, земляк Андрюшин, самарский тоже, шутит всегда:

— Землячок. Подошвы-то на сапогах не сносил еще?

И Андрюша — шуткою:

— Подошвы первый сорт. Еще надолго хватит.

Так что на проверку выходит: заурядный мальчуган, каких тысячи.

А между тем все, как сговорились:

— Интересный мальчишка! Замечательный! Любопытно, что́ из него выработается!

Но было ли что действительно замечательного в переплетчиковом сынке?

Было, действительно. Но имени тому — нет. Есть, впрочем, имя — слово. На все ведь есть слово. Даже на то, чего нет, и на то есть слово.

И вот это, что влекло к мальчику людей, что говорить о нем заставляло, таинственность эта в действительности никакой таинственностью и не была, а наоборот — явью. Самой явной явью, слепящей своей явностью.

Слишком светлое всегда слепит. Слишком явное призраком, миражом кажется.

Не в этом ли и безысходность, круг заколдованный, что несокрытого — ищут, не желая или не умея увидеть?

И вот, эта тайна, влекущая к Андрюше людей и в тупики лабиринта приводящая, самим им бессознательно определялась одним коротким словом: „Да“. Кратчайшее, сухое, механическое слово определяло огромное, чего не охватить, не вместить, не взвесить.

Всё: мир, миры, люди — „Да“.

Хорошее, необходимое, желаемое — „Да“.

И обратно: чего не существует, что умерло, исчезло, а также — что дурно, ненужно, нежелаемо — „Нет“.

В двух этих коротких словах, оба в пять букв,— всё: жизнь, жизни, закон, беззаконие, счастье и горе, и мудрость, Сократы, Христы, Заратустры — *всё*.

И это — первая андрюшина явность.

И еще: сердце у него — открытое.

Всё в него, в сердце, входит и растворяется. Всё воспринимаемое растворяется, как пища.

Так ощущал. Ночью особенно. И утром. Лежит на спине, руки за голову — всегда так спал — и кажется: всё, что сейчас слышит: гудок ли далекий не то паровоза, не то парохода, или, вот, лай Тузика на дворе, и видит что: комод ли с зеркалом туалетным или мерцающую лампадку и, днем гуляя, играя, слышал что и видел — все словно плывет в него, с воздухом вдыхаемым входит.

И приятно, и радостно — даже рассмеяться хочется.

Будто он — всё: и земля, и звезды, воздух и все люди, кого знает и не знает, всё — он.

И тянет-тянет в себя воздух и все еще не втянуть, все еще много. Выдыхает. И снова пьет, как пустыней истомленный, из источника.

И радость, радость — хоть смейся!

Так принимало жизнь открытое сердце. И потому был счастлив и хорош Андрюша.

*

Простой, как все, и оттого необыкновенный.

Все — просты и хороши, все необыкновенны, но боятся ли, стыдятся, как наготы — простоты своей, и одеждою — необыкновенностью ускрывшись — необыкновенность скрывают.

Ибо истинная она — в обыкновенности.

И потому, немогущие воспринять ее, явную ее — тайною делают.

И потому, что прост был Андрюша, хорош,— хорошо и всем от него было.

И объясняя счастье свое сердцем открытым, не объясняя, а ощущая, верил ли, ощущал ли опять, что богатырь он сказочный, с землею слитый: земля и богатырь — одно.

Слышал ли, читал ли такую сказку, или детский простой ум, как всегда сказками плодовитый (из всего сказку делает), был причиною, но вышло так: он — богатырь, какого не осилит никакая сила, так как слитый с землею — непобедим. И потому, что сердце у него открытое, а значит — большое, как думалось Андрюше, то и грудь у него такая широкая и крутая, богатырская.

По сердцу и грудь, и сила.

А от всего этого всегда хорошо было. Не скучно и не страшно.

Если иной раз и возьмет робость в темноте — стоит сказать в темноту:

— Страшно.

И выйдет, облаченный в слово, страх и растворится в темноте. Также и со скукою.

— Скучно.

И — нет скуки. И легко.

Все равно, что груз какой, тяжесть. Если разложить на всех — незаметно, будь в грузе этом хоть миллион миллионов пудов, а на всех и золотника не останется.

Андрюша любил воду. Капля, волна и озеро, море — одно — всё.

Как и он в постели — всё. Так и море.

Потому море и любил. Вода, море — дружное. Если бушует море — все бушует; спокойно — все оно спокойно. И люди, если вместе, такие же. Любил многолюдие.

Улицу предпочитал двору, улице — сад городской.

Там всегда люди. И долго. И сегодняшнего человека можно и завтра встретить. А на улице — пройдет и нет его. Будто не было или умер.

Сад тоже море напоминал: люди—волны, ограда—берега.

Летом он целые дни — в саду.

Со всеми сверстниками и со многими взрослыми знаком. Сам знакомился. Самых нелюдимых, одиночек и даже женщин не дичился: сядет, заговорит. Все его знали.

Взрослые любили с ним болтать, ребята играли охотно.

Согласный. И не жи́ла. Чтобы поддержать игру, всегда уступит, а это в любой игре важно.

И играть мастер. В лапту такие свечки запускал — прямо в небо.

А еще: в „казаки-разбойники“. Когда Андрюша „разбойник“ — любую прорвет облаву, а если „казак“ — встанет у „города“ — не вбежит никто. Больших, куда старше себя, гимназистов разных, и тех — ухватит — крышка! А в игре важнее всего сила и выносливость.

В „голики“ другой гоняет, гоняет, водит, водит — замучается. А тут еще шлепают по спине, когда промажет, да если еще Чудо-Юдо шлепнет?

Беда! Плохонький и не играй лучше.

Весело в саду проходило время. И дождь, бывало, не выгонял.

Как зашлепают над головами, по листьям, первые капли — Андрюша:

— Ребята! В беседку! Кто первый?

В беседке, в дождь, особенно хорошо.

Полным полна. А он, знай, в толпе шныряет, каждого коснуться может, заговорить с любым.

Хоть пустяк какой спросить, в роде:

— Дяденька, скажите, пожалуйста, который час?

Разве не наслаждение?!

Хорошо в дождь в беседке. И жалко, когда кончался дождь, и редела толпа.

Также жалко, когда закрывался вечером сад. Отходной звучал звонок сторожа.

Грустно делалось, но на миг только.

Ведь завтра же опять — целый день! С утра, когда Федор, сторож, подметает.

У дома говорил Жене Голубовскому, вечному своему спутнику:

— Завтра пораньше, смотри. Как откроется. Подметать будем. Федор даст. Я ему папироску нашел. Слышишь, пораньше, Женя?

— Не знаю, как пораньше-то. Я здорово сплю, — отвечал, зевая, Женя.

— Сплю! Соня! А ты не спи. Утром, как свистну под вашим под окном, чтобы ты был вставши.

И угрожал:

— А не то играть с тобой не буду. Так и знай!

ГЛАВА ВТОРАЯ

Было Андрюше четырнадцать, когда он совершил первый подвиг. На Чудо-Юдо „вышел“ единолично.

И не из похвальбы и ненауськанный никем. Не простая это была стычка, а значение имеющий ход, акт.

Так было.

В жаркий полдень алтуховские ребятишки отправлялись купаться на Гутуевский, на Бабью речку.

Речка эта паршивая, но главное — кокос прельщал.

Со всего Питера ребята на Гутуевском кокос воровали. Всегда это было.

А кокос — шикарная штука! Сладкий и маслом деревянным пахнет. Объядение!

Иной раз — назад, молоком прямо, а все не бросить.

И вот, ребята алтуховские, когда уже выкупались по разу,— за кокосом.

Все удачно набрали из мешков, конечно, прорванных. А Савосе не удалось. Одну только корку успел взять, а тут таможенный идет.

Понятно, тягу. Опять на речку.

Чудо-Юдо корку свою слопал и облизывается. А ребятишки смеются:

— Эх, ты, а еще Чудо-Юдо, а засыпался.

Савося до кокоса большой охотник. Не утерпел. Стал просить у товарищей. По кусочку дали, а больше — нака, выкуси!

— Теперь не достанешь!

Но Савося, не долго думая, отобрал кокос у Федьки сапожникова, — самый тот слабенький, уродец-сухорукенький. Отобрал и жрет.

Федька, на что трусливый (Савоси же он боялся больше всех, тот его частенько бивал не по злобе, а по здоровью и по силе), а тут полез:

— Отдай,— хнычет,— чорт, Чудо-Юдо!

А тот, знай, чавкает, да поддразнивает:

— Скуснай.

У сухорукенького одна рука действует, да и в той силы меньше, чем у Савоси в одном пальце. А полез, несправедливостью возмущенный. Вцепился в Савосю.

Ребятишки окружили, забесновались от восхищения, предвкушая интересное зрелище.

Только глазенки большие стали, воспламененные. И не понять по глазам этим, чего ждали от силы: правды или насилия.

Детские глаза непонятны и жутки. Оттого ли, что ясны чересчур и прямы — непонятны?

От прямоты ли и ясности — беспощадность?

И вот, стояли и смотрели, восхищенные, на уродца сухорукенького, уцепившегося единственной действующей слабосильной ручонкою в толстое плечо здоровяка.

А тот посмеивался, жуя кокос, и масло текло по толстым губам.

А потом ухватил под мышку голову уродца, повалил. Улегся, всего закрыл пятипудовой почти своей тушей. Даже писка уродца не слышно.

И жрет кокос. Масло так и течет.

А толстяк посмеивается:

— Скусно.

Ребятишки бесятся, на месте не стоят:

— Ишь, чорт толстомясый, совсем задавил!

— И руками не держит. Брюхом смял.

— Савося! Долго так держать можешь, а?

— Хошь весь день! — сопит Савося. Кокос чавкает.

Кажется, задавит человека и не заметит сам — все будет чавкать.

Но вдруг — Андрюша.

— Брось, Чудо-Юдо! Отстань! Зачем трогаешь? И кокос отдай! Не твой.

Отпустил тот уродца и к Андрюше, грозно:

— А ты чего вяжешься? К тебе лезут, да? Ты — чего?

Андрюша, выросший вместе с алтуховскими, никогда не пускавший в ход кулаков, всегда веселый, смеющийся — бледный теперь, побелевшими губами выкрикнул звонко, как никогда в самых крикливых играх не кричал:

— А вот чего!

И ударил Савосю.

Алтуховцы, выросшие вместе с Андрюшею и знавшие хотя его силу, не предполагали все-таки такого ее действия.

Савося точно не стоял. Точно землю из-под ног выдернули. Пополз на четвереньках, поднялся, шатаясь.

И кровь из зубов и носа.

Женя Голубковский, задушевный приятель Андрюши, не разделял восторга алтуховских ребят по поводу происшествия на Бабьей речке.

— Напрасно ты Савосе в морду дал,— сказал Женя Андрюше наедине,— за такого урода и бить. Ну, остановил и баста. А то у него и теперь еще зуб шатается.

Андрюша горячо отстаивал свой поступок, но Женя не соглашался.

— Я не люблю уродов и слабеньких, сухорукеньких, разных. Я, если бы царь был, послал бы на войну карликов, там, да горбунов, кривоножек. Пускай перебьются. А которые останутся — на них бы борцов-чемпионов напустить. Борцы-то, видел, какие? Нурла, турок такой есть, двенадцать пудов весит. Такой, как тараканов, их подавит. Пяткой наступит и готово! Ха-ха! — зло смеялся Женя.

— Злой ты, Женька! — говорил Андрюша.

А тот нес свое:

— А пускай злой. А я их не люблю. Они вот злые-то и есть, а не я. Они только боятся, а то бы они делов понаделали. Уж я знаю! Злюки они самые настоящие. Ты, знаешь, что я раз сделал с одним таким уродцем? С Пашкой мы вместе. Знаешь Пашку от Галяшкина из лавки? Видал, какой Пашка-то? Здоровее еще Савоси. Люблю здоровых. Да. Вот иду я по Фонтанке за яковлевым домой. Заборы там все. За угол зашел. А там идут Пашка и какой-то противный. Ноги вот так, как буква Х. Колченогий. Из школы шел. Ковыляет, это. А Пашка озорной, сам знаешь. Здоровяк. Не боится никого, потому и озорной. Вот он обгоняет колченожку. Сгреб с того шапку да в корзинку — пустая у него корзинка. Корзинку на голову и идет. Посвистывает. Здоровяк. Чего ему? А колченожка лезет: „Отдай шапку, чего лезешь?“ Ну, Пашка его пихнет — он с ног. Какие же ноги у колченожки? А я сзади иду и хорошо мне смот-

реть. Интересно. А Пашка встал у перил и смотрит на буксир „Бурлачок“, как тот барку тянет А колченожка встал, близко боится, сколько раз ведь летал от Пашки. Издалека говорит: „Отдай шапку. Зачем взял?“ А сам злится. Плакать уж начинает. Пашка меня спрашивает: „Отдать, что ли?“ Смеется. „Пускай,—говорю,—попросит, как следует, а то он злится все“. Засмеялся Пашка: „Верно,—говорит,—злой он, страсть, я его знаю...“ И вдруг, смотрю, заплакал колченожка, затрясся. И ножик из кармана достал — и на Пашку. А тот и не видит, зазевался на „Бурлачка“. Я как заору: „Пашка, гляди, с ножом!“ Тот обернулся. Хлоп! Корзиной! Раз! Раз! Еще! Сшиб колченожку. На руку наступил. „Отпущай,—кричит,—ножик!“ А нога у Пашки, что утюг, толстенная. Хорошо еще, босой был, жарко. А то раздавил бы колченожкину руку. А тот все ножом вертит. Пашка надавил ногой — выпустил колченожка ножик. Тут Пашка ногами его, под бока нашпорил. Тот только ах да ах. Потом за шиворот — забрал, что котенка. Как тряхнет, как тряхнет! У того даже пена! Плачет. Брыкается. Злой. А Пашка по щекам, все по щекам. Накрасил, как следует быть. А я Пашке и говорю: „В участок надо. С ножом дрался. Верно?“ Пашка: „Верно“, — говорит. Потащил. Да все коленом сзади, все коленом. Прохожие останавливают: „Что такое?“ А я: „Ножом дрался, вот что. Вот мальчика этого зарезать хотел“. Ну, прохожие: „Тащите, его, хулигана, к отцу, к матери“. А злюка-колченожка адреса не дает. Тогда Пашка его под бока. А кулаки у Пашки, сам знаешь, во! Указал дом. А под воротами захныкал: „Мальчик! Пусти! Я больше не буду!“

Женя вытирает влажные губы. В восторге весь непонятном. И томит Андрюшу женин рассказ.

А Женя продолжает, упивается:

— Пашка — фефёла. Как дотащили до лестницы, да как тот завыл: „Мальчики милые! Пустите, дорогие

(ей-богу, так и говорил!). Я больше не буду. Меня отец убьет за нож. И матка убьет...“ Пашка и растаял: „Пустим,— спрашивает,— чево ли? Я ему и так хорошую мятку дал“. А я ему: „Дурак,— говорю,— а если бы он тебя зарезал?..“ Ну, Пашка говорит: „Верно. Нечего рассосуливать“. Схватил в охапку, на плечо закинул — и по лестнице, в четвертый этаж. Силища у толстого чорта страшная! Притащил. И не устал ни капельки. Только морда, что блин на сковородке, так и пышет. Стучали, стучали, звонили, звонили. А Пашка - фефёла. „Ушодцы“,— говорит. А я сразу догадался, что наверное в пустую квартиру привел заместо своей. „Пустая,— говорю,— квартира. Чего ему верить, подлецу“. Колченожка: „Нет,— говорит,— милые, я здесь живу. А пустая,— говорит,— вот та, так она и открыта“. И показывает рядом.

Женя волнуется. За руку хватает Андрюшу. Глаза— огонь. Матовое всегда лицо вздрагивающим вспыхивает румянцем. А голос,— сказочного злого волшебника.

И еще тяжелее, страшнее дальнейший его рассказ.

И странно. Нетерпение какое-то охватывает Андрюшу. И не может понять: оттого ли, что злое открылось женино сердце, оттого ли, что правда какая-то небывалая в этом была рассказе, но с нетерпением, как неслыханного чего-то ждал.

И томился, как в неволе. Торопил:

— Ну? Ну?

— Ну, тогда я говорю: „Давай, Пашка, в пустую его. И дай ему там, чтобы век помнил, как с ножом на людей кидаться“. Поволок его Пашка за шиворот. А он плачет и ноги пашкины целует: „Не бейте,— говорит.— Простите“. Притащили в самую последнюю комнату. Я все двери прикрыл. Завыл колченожка: „Милые мальчики! У меня все косточки ломит. Довольно с меня. Ведь я,— говорит, слабый, миленькие“. Я тогда: „Ну, так в участок пойдем. Там тебе не такие косточки покажут. За нож...“

А он, что с ума сошел. Плачет, дрожит весь, ползает и пашкины ноги целует. Пашка хохочет, тычет ему в нос ножищами: „Целуй, — говорит, — хорошеньче. Кажный пальчик, да под пальцами, где, — говорит, — мяса много. А теперь, — говорит, — пяты!“ — Издевается, толсторожий, любо ему. А молодец, Пашка, так и надо! Я ему пятиалтынный дал. Последний. Шоколаду хотел купить, а отдал, не пожалел. Честное слово! Даю пятнадцать копеек и говорю: „Смотри, мол, хорошеньче дай ему“. Взял Пашка, сказал „спасибо“. А я: „И ножичек тебе будет. Вот“. Колченожкин ножик показываю. Ну, Пашка, конечно, рад стараться. „Сейчас, — говорит, — я с ним штукенцию сострою. Разукрашу“. Повалил, сел тому на живот, а ноги вот так, чтобы головой не вертел. А ноги у Пашки, сам знаешь, какие. Что у слона. Деревенские все толстопятые, а такой, как Пашка, в особенности. Толстяк. Сжал он колченожкину харю, тот и пошевелиться не может, пищит только, один нос меж пашкиных ступней торчит. Потом послюнил палец указателный. Натянул. Отпустил. Щелк колченожку по носу. Будто пружиной. На втором пальце у того кровь носом. Захныкал пуще. А Пашке смешно: „Двух пальчиков не выдерживает, а их еще восемь“. Колченожка скулит, а Пашка щелкает. Преспокойно, Кровь брызжет. А он сидит да щелкает. Кончил с носом, за губы принялся. Надавил щеки пятками — губы так и выпятились, а Пашка и по ним, как по носу, как пружиной: щелк. Опять со второго щелчка — кровь. Пашка смеется: „Ей-богу, больше двух не выдерживает“. А сам щелкает. Как кровь увидал — лучше защелкал. Прямо — резина, а не пальцы. Здоровый, деревня!.. По глазам по одному щелчку, по легонькому, мизинчиком. И то завыл колченожка. Бросил Пашка, надоело. И мне надоело. Пашка говорит: „Ежели б захотел, до смерти мог бы защелкать. Много ли ему, заморышу, надо. Что вшу можно раздавить ноготком“. На прощанье заставил Пашка его

золы съесть. Из печки. Горсть целую. Съел. Всю съел. Горсть. Плачет, а ест... Пошли мы. Пашка рад. Еще бы! Пятиалтынный заработал. И ножик. И ножик хорошенький. Перочинный. Два ножичка: маленький один и большой один. Ручка костяная. Хорошенький ножик.

Только когда кончил Женя, увидел Андрюша, что подходят они к саду, и удивился.

Ведь во дворе же алтуховом разговаривали. Откуда же — сад?

— Женька? Сад? — недоумевал.

— Сад? А что же? Ведь мы же в сад и шли.

— Нет, я не то.

Андрюша почувствовал, что то, что томило его во время жениного рассказа — оставило его, лишь произнес он слово: „Нет“.

И повторил громко:

— Нет.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Хотя Женя открыл свое злое сердце, хотя „нет“ была женина к красоте и силе любовь,— Андрюша был с ним попрежнему дружен.

Также в саду до звонка вместе — летом, зимою же — на коньках, на Фонтанке, по льду.

А после второго андрюшина подвига тесно спаялись их отношения. Будто, что один, то и другой. Непохожие друг на друга близнецы.

А второй андрюшин подвиг такой: в Алтухов дом переехала вдова, полька Русецкая, душевно-больная.

Почему она не в больнице была, а свободно в частных домах проживала — неизвестно.

Была она одинокая. Квартиры меняла часто. И по таким причинам: всегда спокойная и на вид нормальная,

Русецкая впадала в настоящее сумасшедшее буйство, если слышала продолжительное хлопанье в ладоши.

В каждом доме, где она жила, подвергали ее этой, созданной больным ее мозгом пытке. И из каждого ей за беспокойство отказывали. И в каждом доме откуда-то узнавали об ее мании и доводили несчастную до бешенства сначала ребятишки, а потом и взрослые — любители.

Особенно кухарки и горничные.

Русецкая ежедневно с утра уезжала к каким-то родственникам и возвращалась поздно вечером. И вот, когда она появлялась во дворе в пышном шелковом платье, в тальме, с неизменным зонтиком, отороченным черными кружевами, странная, не по моде одетая, смешная для многих,— раздавались одновременно из разных концов двора хлопки.

И безумная полька всегда кричала одно и то же:

— А-а! Швабы проклятые! О, варвары! А-а,а! Все равно я найду вас!

И металась, широко распустив старомодные шелка платья, злобно радуясь, когда затихали на минуту ненавистные звуки.

Кричала в исступленном восторге:

— Ага! Боитесь? Ага! Перестали-и!..

Но дикий взрыв хлопков гасил радость.

И отчаяние, и ужас охватывали несчастную.

Визгливым, пронзительным голосом, точно заклинания творя, выкрикивала:

— О-о-о! Дьяволы, дьяволы, дьяволы!

Бросала в невидимого, а может быть видимого ею врага зонтиком, кидалась со стремительностью, возможной только у безумных, в разные концы двора, забегала на лестницы, откуда ее выгоняли тем же способом.

И вот, когда алтуховские ребятишки на второй, кажется, вечер травли довели несчастную женщину до того, что бешенство даже улеглось в ней, и только надежда на

молитву осталась, встала когда на колени среди двора и по-польски с левого на правое плечо кладя кресты, рыдала, призывая „Матку боску“, „Езуса коханего“ и „Юзефа швянтого“, чем особенно развеселила детей, стоящих кругом ее и бесстрашно, открыто уже хлопающих,— в этот тяжелый, неизвестно, чем окончившийся бы миг, Андрюша, возвращавшийся домой из сада, растолкал беснующихся ребят и, встав лицом к лицу с сумасшедшей, сказал просто:

— Пойдемте, тетенька! Я вас проведу до вашей квартиры.

И оттого ли, что прекратилось хлопанье, или голос мальчика подействовал почему-то на женщину, поднялась она сразу с колен и, протянув руки, как артистка, проговорила протяжно и жалобно:

— О, уведи! Выведи меня из этого страшного круга!

И когда вел под руку по темной — летом не зажигались лампы — лестнице, не чувствовал ни страха, ни беспокойства, словно не безумную вел.

А она все хватала его рукою за руку и целовала в плечо. И все спрашивала:

— Ты — витязь? Ты — прекрасный витязь? О, я тебя знаю! Ты заколдованный круг расколдовал. Я знаю! Я знаю!

А когда на другой вечер начались опять чьи-то неуверенные хлопки, Русецкая, подняв руки, словно к небу обращаясь, закричала голосом, полным глубокой веры:

— О, мой прекрасный витязь, спаси!

Андрюша не замедлил явиться на зов. Он нарочно ждал на лестнице. Несколько вечеров так спасал несчастную. И травля прекратилась.

Это и был второй андрюшин подвиг.

И как ни странно: озорной, любивший мучить людей, бабушку, единственную свою родную, доводящий до слез, Женя Голубовский сказал Андрюше:

— Ты хороший.

И прибавил, нахмурясь почему-то:

— Если бы не ты, мы бы ее до смерти замучили.

И от этого радостно Андрюше стало.

За Женю радостно, не за себя:

— Погоди, и ты будешь хорошим. И уродцев будешь любить.

— Уродов — нет, не буду. Но трогать не буду тоже, — ответил Женя. — Замечать их не буду, так же как кошек и собак. Я кошек и собак не замечаю, а они меня боятся. Не трогаю, а боятся.

Тихону, студенту из двадцать третьего, рассказал Андрюша о своей истории с Русецкой.

С Женей заходил к Тихону нередко. Так заходил, поболтать, рассказов послушать веселых и разных интересных.

Любил Тихон детвору. Особенно землячка Андрюшу.

И теперь, как всегда, поил Тихон мальчуганов чаем с филипповскими баранками, сам же (что с ним случалось очень редко) пил водку и закусывал огурцом и зеленым луком.

Выслушав андрюшин рассказ, нахмурился отчего-то:

— Круг заколдованный... Да?.. Так... Для всех заколдованный... Что — сумасшедшая? Ей-то, пожалуй, лучше. Просто, у них, у сумасшедших, мировые вопросы разрешаются.

Взял, вот, ты ее под руку и вывел из заколдованного круга. Эх, кабы всем так-то просто! Под руку и — пожалуйте. А на деле-то не так. Не так, Андрей, братец мой, землячок.

— А что это за круг? — с любопытством спросил Андрюша.

Много думал об этом таинственном круге, для этого и Тихону рассказал историю с Русецкой, чтобы о круге том что-нибудь узнать.

Женя нетерпеливо перебил:

— Да разве же не знаешь? В сказках круг такой заколдованный. Не выйти будто из него.

— Не в сказках, а в жизни, везде, — загорячился отчего то Тихон, — вот, смотрите. Что этот стол, круг или нет?

— Вот так круг! — оба мальчика, в один голос. — Разве круг это?

— А я говорю — круг,— настойчиво и хмуро ответил студент,— не смотрите, что углы у него. Все — круг. И глазенки ваши, ребятишки глупые,— кругляши тоже. И мои зенки пьяные — кружки. Э, да что — глазенки, зенки! Жизнь наша в отдельности и всего человечества — разве не круг? Не заколдованный разве круг?!

Поднялся большой, кудластый, уже значительно опьяневший. Такой, непохожий на себя. Всегдашняя насмешливая улыбка скорбной какой-то, новой, молящей стала.

Грабли-руки на плечи андрюшины положил и заговорил тихо:

— А ты расколдовывай, Андрей! Сними печать. Выводить старайся из круга. Не сумасшедших одних только... Зачем? Всех! И себя, и всех. И не спрашивай, как выводить и что за круг такой. Сердце подскажет. Сердце учует. И путь нащупаешь, сердцем опять же.

Отошел. Сел. Задрожавшей от волнения или опьянения рукою зазвенел горлышком сороковки о рюмку.

Но не выпил. Пьяно, думно запророчествовал. Гудел басистым своим голосом:

— Сердце, братцы, главный в человеке пункт. Мозг тоже, но мозг — подлец. А сердце, как мать родная. Ты, Женька, эй! Злой Женька, не усмехайся! Чего — ничего? Вижу я... Сердце твое кремневое из глаз твоих смотрит. Ну, ну! Не сердись! Хороший ты, Женька! Без камня тоже не жизнь... Верьте! Не жизнь и без сердца. Знаете —

не маленькие. Его слушайтесь. В него, в сердце, вслушивайтесь:

> О, люди, я вслушался в сердце свое
> И вижу, что ваше — несчастно...

Сердце, братцы мои, все... А ты, землячок ты мой любезный, Андрюшка, Андрей Первозванный, сердцу своему сугубо верь. Твое — не обманет. Им, сердцем-то своим, и иди, а не только ногами. Ноги что? — Машина. Сердцем иди. Не по всякому пути ногами пройдешь, Андрюша!..

Задрожал густой, колокола словно последний удар, голос Тихона:

— Андрюша! Подвиг большой тебе предстоит. Можешь свершить, по глазам вижу. И этот, Женька, может. Железный Женька. Слышишь, Женька Голубовский? Зло в тебе есть. Его — обуздай. Обузданное зло иной раз добра полезнее. Но, помни, железный! Совсем ожелезниться человеку нельзя. Не паровоз он.

Тяжело, как бы опуская наземь непосильную тяжесть, думно пророчествовал Тихон:

— Раскол-до-вы-вайте! Но помните! Тяжкий путь. Вера нужна — во! больше самого себя. А главное — сила. Слабый и не берись. Да не ломовую, не мускульную силу, ее-то у каждой лошади хватит, а сердце надо большое. Чтобы все вместить. И если потребуется — всё отдать. Понимаете, что значит в с ё?

Опустил на руку, на ладонь огромную кудластую свою голову, закачал ею над столом, над недопитой рюмкою, пьяным мужиком вдруг стал, самарским каким-то и загудел дрожью последнею замирающего колокольного удара:

— Ох, пареньки, мальчишечки! Мальчишества своего не гнушайтесь. Всю бы жизнь в мальчишестве пробыть. Вот тогда бы — без ошибки.

И опять вскочил, загрозил пальцем:

— Эй! Мальчишества не бойтесь! Не губите мальчишества-то своего! До конца вот такими будьте. Что в бабки играть, что в черепа,— все равно кость-то... Только, без ошибки чтобы. Сердцем, повторяю, итти надо. А куда? Оно, сердце же, и укажет. И по-мальчишески: непричесываясь идите, без денег, без платков носовых. И посоха не берите: пусть они останутся, посохи-то, слепым. И препоясываться не нужно. Пусть это Христос „препоясывать чресла“ наказывал... А вы так. Штаны поддергивая, по-твоему, Андрюшка, штаны поддергивая! Всё так идите. На лобное место или в землю обетованную — все равно! По-андрюшенски! Но, без ошибки чтобы...

Загрозил опять.

— Предостерегаю!.. Или выиграть, или проиграть. Проигрыш тоже — не ошибка. Ошибка у того, кто никогда не ошибался. Вот моя, мужичья мудрость, самарский парадокс! А еще: не вразброд, а артелью. Силой расколдовывается колдовство, а не хитростью. Помните это! А не то вместо креста — балалайка получится, вместо Голгофы — балаган, а о земле обетованной и думать забудь... А теперь играть идите. Как играете-то? В войну, небось? В солдатики?.. Не играйте! В рюхи лучше или в мячики, в лапту. А в убийство играть не нужно... Вот скоро война с немцами, верно, будет. И тогда не играйте. Немцы тоже самарских мужиков не хуже и не счастливее. И Андрюшки у них такие же и Женьки есть, только Фрицами их зовут... Марш, ребятки! Поддерни портки, землячок! А ты в подтяжках, поди, Женька? Напрасно. Учись без опояски ходить — пригодится сия наука.

Затуманенные, завороженные вышли приятели от студента из двадцать третьего...

— Пьяный,— сказал Женя лениво.

— Умный,— Андрюша сказал задумчиво.

*

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Бывает, возмужает душа в юности и в отрочестве даже.

Тогда действовать должен человек, путь какой-то нащупать и звезду возжечь, а от нее — к другой итти звезде, к более яркой, более возженной.

Но — действовать! Не стоять, не ждать.

Ждущий никогда не дождется. Действовать!

Иначе возмужалая одряхлеет душа.

Великие события: войны, революции, младенцев отроками делают, юношами — отроков; юноши мужают, и одряхлевают старики.

Родина двух юношей, Тропина и Голубовского, сотни лет сжатая кандальным кольцом, безысходностью заколдованного круга, выходила из этого круга, расколдовывала его не колдовством; более могучим, не хитростью наихитрейшею, не магизмом более магическим, а силою.

И — пошли несметные рати новых, по новому пути.

Сердцем пошли.

Твердо, мужественно, ибо многие возмужали.

И Тропин, и Голубовский пошли.

Тропин, „да“ свое воочию увидевший, сердцем и умом пошел.

Не подлец был ум для Тропина.

Голубовский, силу почитающий и красоту, спутником был товарища.

Но жутка душа Голубовского.

Железно — сердце.

И им, железным, с трудом обуздываемым и управляемым, как в латы закованным средневековым конем, тяжко шел по новому пути Евгений Голубовский.

В февральскую революцию Голубовский в одном из первых восставших полков командовал полуротою.

Присоединил к восставшим частям полки, расположенные в окрестностях Питера.

В Октябрьскую — участвовал. Дрался против Керенского.

Но жутка душа Голубовского. Железно — сердце.

Потому не мог признать правду, признал только силу.

Потому говорил искренно:

— Силу в большевиках люблю. Сила — красота. Слабость — уродливость.

— Обуздывай злобу! — говорил Тропин, счастливый, „да“ воочию увидевший.

— Обуздываю и так, но трудно.

Жгучие на матовом, возмужалом не по летам лице, мрачным огнем горят глаза Евгения Голубовского.

— Мне бы перевестись на самый жуткий фронт, где в плен не берут, убивают на месте.

Голубовский давно не улыбается, давно не шутит.

Страшно, когда говорит:

— На Плесецкой мою невесту убили, коммунистка была. В поезде, к полу штыком пригвоздили.

Шопотом жутким, как фитиль бомбы:

— Тризну бы по ней... Мне бы на фронт, на самый беспощадный.

Придумывает пытки. Говорит:

— Надо записать их. И рисунки — хороши. Целую систему.

— Злой ты, Женька! — как в детстве когда-то, говорит, вздыхая, Тропин.

Голубовский откомандировался в Сибирь, в действующую армию, на должность командира одного из красных полков.

Писал товарищу редко, но слышал о нем Тропин не раз. От людей, приезжающих с фронта, из газет узнал о ратных подвигах друга, о двух орденах „Красного знамени“, полученных за безумные по храбрости ратные Голубовского дела.

Командир полка Голубовский, переписчик штаба полка Факеев и вестовой Иверсов бежали из неприятельского плена.

Дерзкий побег. Ночью. Во время следования поезда в тыл.

Из вагона. К станции уже подходил поезд.

Так было:

В лохмотьях, разутые неприятелем, под конвоем часового, сидели в темном товарном вагоне.

Полуголые, жались друг к другу.

А слабый, болезненный Факеев зубами даже дробь выстукивал и все жался к Иверсову, здоровенному двадцатилетнему сибиряку, теплом молодого могучего тела старался согреться.

И вот, командир Голубовский тихо на ухо Иверсову:

— Бежим.

И, ответа не дожидаясь:

— Бери за горло!

Таким шопотом-тихим, точно не слова, а мысль.

И, сам не помня, что делает, поднялся Иверсов.

И через миг...

Загремел винтовкою, сапогами — часовой, ноги зачертили вагонный пол. Хрипел. Горло — в кольце могучих пальцев Иверсова.

Голубовский часового два раза штыком — так и оставил винтовку, воткнутою в грудь штыком — пригвоздил к полу.

На-смерть ли, нет — неизвестно.

Ночь. Темь. Поезд свисток давал.

Станция. Повыскакали на ходу.

Факеев ногу чуть не сломал. Неумело прыгал. Боялся.

Потом: в тени за вагонами.

Полуголые. Босиком по щебню.

Лес близко.

Всю ночь. Лесом всё, тайгою. Молча. Опасливо жмурясь — ветки по лицу.

Изредка только Факеев жаловался на болевшую ногу.

Дрожал. Ушибал босые ноги.

— Все равно пропадем!

Иногда, озлобленно:

— Чего бежали? Все равно в их расположение выйдем. Наши-то теперь чорт знает где! Отступают. Так может не расстреляли бы. А уж теперь — непременно...

Богатырь Иверсов хлопал его по плечу лапищей, которой несколько часов назад душил белогвардейца.

— Подтянись, друг! Живы будем — не помрем.

— Брось! — ежил плечи Факеев.

Опять молча. Жмуря глаза. Отводя ветки. Спотыкаясь.

Утром — привал.

— Провианту недостаточно. Плохо,— покрутил головой Иверсов.

— Тебе эти места известны? — спросил его Голубовский.

— Эти плохо знаю. А дальше — наши места на проход. Дойдем, товарищ командир.

Улыбнулся толстощеким добродушным лицом.

Голубовский сказал тихо:

— Не дойдем. Один может дойти, а троим — невозможно.

Поднялся во весь свой высокий рост.

Голос зазвучал, как недавно в полку:

— Иверсов! Необходимо хоть одному из нас дойти до наших частей, для того чтобы этим путем в тыл зайти неприятелю. На первом его фланге силы невелики. Зашедший в тыл даже небольшой отряд, лучше всего кавалерийский, может решить дело всего фронта. Иверсов! Путь этот ты приблизительно запомнишь. Тайгу ты знаешь лучше, чем я питерские улицы. Поэтому — раздели по своему расчету весь этот провиант, чтобы хоть понемногу

хватило на каждый день. А если сразу сожрешь, то не доползешь и раком даже половины пути. Понял?

— Что же, я один разве? А вы? — не понимал Иверсов.

— Тебе одному дойти впору только. Ты здоровее нас. Этот...

Сунул пальцем на побледневшего Факеева:

— Этот, определенно, не выдержит. Я — контужен и ранен был недавно, сам знаешь. Тебе места знакомы.

— Товарищ командир!..

— Стой! Идем вместе до тех пор, пока могу. А провиант тебе. Этот...

Опять ткнул пальцем:

— ...уже не может. Ноги — колодками, сам на чорта похож. Привяжем его к дереву, Иверсов. А то вернется. В расположение белых выйдет... Знаю!.. И себя погубит и нас, а главное — дело погубит, побоится в лесу умирать и хоть к чорту в зубы, а полезет. Знаю! Трус.

— Товарищ командир!.. Нельзя. Помирать, так всем. Итти — всем... Как же человека к дереву... — скороговоркою заговорил Иверсов.

— Товарищ Голубовский!

Бледное, судоргою сведенное лицо. Шатается на вспухших ногах Факеев.

— Товарищ Иверсов! Мы не в плену. Запомните это. В порядке боевого приказа — привязать Факеева! — грянул голос, от которого недавно еще трехтысячный полк застывал, как один человек, или в атаку стремительную кидались тысячи, как один.

И дальше тихо, но твердо, чеканно.

— Иверсов! Я спас тебя под Беляжью. Спаси теперь не меня, а дело. И себя. Себя сбереги для дела. Проводником наших будешь сюда... Наше дело ясное: трое — погибнем. Один — дойдет!.. Молчи! Иверсов! У тебя невеста, помнишь, говорил?...

Тихим голосом, не слова точно, а мысль:

— Помнишь? Катя... Иверсов! Из-за нее тебе спастись надо... О чем разговаривать? Десять суток разве пройдем трое на однодневном пайке и босиком?! А один, если понемногу будешь есть, дойдешь... Козыри, правда, маленькие, но все-таки не бескозырье.

Стоял, голову потупив, красноармеец, вестовой штаба разбитого уже номерного полка, Иверсов.

И — окончательный удар его сомнению и нерешительности:

— Я еще начальник! Повторяю, мы не в плену. Последний раз говорю: в порядке боевого приказа!..

Ругань, бешенство, мольбы, проклятия безобразным свивались клубком.

И безобразным клубком — тело. Бессильное, узкогрудое, с отекшими ногами, под ширококостным, твердомясым, крепконогим телом.

Голубовский говорил:

— Крепче вяжи!

— Товарищи!.. Милые!.. А-а-а!.. Что же это, ай!.. Тов... ком...

Голубовский совал в рот Факеева оторванный, скомканный рукав рубахи.

— У-у-у!..

Стиснулись зубы.

— Открой рот не дури! — сказал Голубовский.

Отчаянно мотал головою, стукаясь об ствол дерева Факеев.

Снизу глядели глаза в слезах — ноги завязывал лентами оборванной одежды Иверсов.

— Разожми ему рот!

Карие, испуганные, в слезах, глаза. А в них точно, плевок — холодные слова:

— Дурак! Ведь кричать будет!

Опустил глаза. Засопел могучим сопением богатырь Иверсов. Слезы заполосовали загорелые, круглые молодые щеки.

Большим широким телом заслонил маленькое, к дереву притянутое. Руки красно-грязные, жилистые, каждая больше зажатого в них узкого маленького лица.

— То-а-а... у-у-у...

Зубами ловил — Факеев.

— У-ва-а... у-ва...

Тряпкою задыхался.

Толстые, крепкие пальцы разжали обессилевшие челюсти.

Голубовскому вспомнилось: давно, мальчишка-колченожка так же вертел головой. Отплевывался от золы. Плакал. Отплевывался, но ел... Всю съел...

Опять шли. Теперь уже двое.

Только изнемогали когда — делали привал.

Голубовский делал привал. Но ненадолго.

Снова — в путь.

Босыми, по жестким кочкам, по сучьям колющим, ногами. Поджимая пальцы, чтобы не так кололо.

Искровавлены, вздуты Иверсова даже привычные, твердокожие крестьянские ноги.

Слабело его молодое, мощное, сибирское тело.

Падал вольный таежный дух. Но всегда первый Голубовский говорил:

— Идем! Рассиделись, что на именинах.

Бледный под смуглостью. Голодающий несколько дней. Исхудалый.

Но глаза — огонь черный. Камень.

И голос тверд.

Со страхом, с уважением, граничащим с раболепством, смотрел на высокую, колеблющуюся от слабости, фигуру Голубовского Иверсов.

И вслух думал, шопотом:

— И все идет. И все — не евши. Ах ты, дело-то какое...

На привалах выдавал Иверсову кусочек хлеба непонятный, сам себя морящий голодом, командир Голубовский.

И в отдыхах этих недолгих один разговор — приказание.

— Места запомина... Поведешь сюда. Слышишь? Даешь слово, поведешь? Любую, первую, которую найдешь, часть, слышишь?..

— Слушаю, товарищ командир!

И потом жалобно, как нищий:

— Товарищ командир, вы кушайте-то и сами. Что же это? Да я не могу так. Как же я один-то?

Или, сам голодный, решительно отказывался от пищи:

— Не буду есть! Хошь убейте! Не желаю! Голодовка, так всем.

Но неизменный ответ:

— Не дури, баба! Заплачь еще! Воюет тоже! Дыра, а не солдат.

— Да как же? Я зверь, что ли, скотина? Человек голодует, а я...

— А ты — дурак! — отрывисто, плевком.

Потом, секунду спустя:

— Не будешь, значит?

— Один — нет!

Ребром ладони, как лопатою:

— Нет!

Спокойное:

— Ну, тогда идем!

Хлеб оставлен на кочке. Весь запас.

— Товарищ командир...

Жалобно, сзади.

— Ну?

Мнется, топчется на огромных ножищах. Густо краснеет сквозь грязь и загар.

В больших, животно-коричневых глазах слезы, как у страдающей лошади.

Голубовский поворачивается спиной.

— Разговоры!.. В хоровод, что ли, плясать идешь?.. Забирай хлеб без канители!

И когда идут — отрывисто, через плечо:

— Чтобы это в последний раз, слышишь? Я не девка, чтобы меня уговаривать.

Но был день.

Голубовский прошел с утра с версту, не больше.

Сел на кочку.

Молча, с затаенным страхом, смотрел на него Иверсов, на бледножелтое лицо, отекшее на ходуном-ходящую от трудного дыхания костлявую грудь.

Стал подниматься... Сел...

— Отдохни, паря, отдохни.... — сказал Иверсов.

И вздохнул.

Жалостливо по-бабьи как-то прозвучали и слова эти, и вздох.

— Прокопий! — вдруг тихо позвал Голубовский.

Давно когда-то, в штабе еще, называл так, по имени, любимца своего, Иверсова.

И теперь беспокойно Иверсову стало.

Голос задрожал:

— Что? А?

Даже обычного: „товарищ командир“ — не прибавил.

— Иди... Я не могу. Теперь дойдешь.

Лег. Головой на мшистую кочку, как на подушку.

Ветерок прилетел откуда-то.

Затрепались черные над смугло-восковым лбом волосы.

И кустики брусничника задрожали, зашелестели над запрокинутым лицом.

Вздрогнул Иверсов.

Припал к кочке, с кустиками брусничника, с лицом этим знакомым, но неузнаваевым. Глаза только прежние: не глаза — черный камень.

— Товарищ командир! Как хотите, а не оставлю. На себе понесу. У меня силы хватит еще...

Торопился, захлебывался:

— Два ведь дня только, ей-богу! А вы поешьте!.. Вот, кусочек остался... А то насильно накормлю и понесу на себе. Спина у меня здоровая. И ноги — вот!

Вытягивал толстые сильные ноги.

— Во, ножищи! Выдержат! Товарищ...

Еле слышно, но твердо:

— Не дури! Времени не трать.

Но Иверсов томился. Хватался за голову. Зубы застучали. И слезы, вдруг, слезы.

Запричитал, как баба по покойнику:

— Ба-атюшки! Родимые! А-а-аяй! Ого-о-о! Тошнехонько моему сердцу! Мил-а-ай, голубчик! Да кой раз уже ты меня спасаешь? Под Бележью, под этой, за меня принял пу-у-лю. А-а-а! Да таперича, вот, мила-ай! Голодной смертью! Ай, да что же это? Ба-атюшки! За меня-а-а! За дурака-чалдона! Человек ведь нужнай, командир учена-а-й!

Но грозностью своею знакомый голос, голос, от которого трехтысячный полк, как один человек, замирал:

— Сволочь! Дело предаешь! Нежности тут разводит! Арш!

Черно блеснули, прокатились на жуткой бледности лица глаза.

Всхлипнул, губы закусил Иверсов.

Поклонился в землю.

И не выдержал — зарыдал в землю. Богатырь-воин, как баба на кладбище.

И опять.

— Товарищ командир!.. Не могу я один-то!.. Жалко мне!..

Жутко улыбнулось. Первый раз за несколько лет улыбнулось неузнаваемое лицо:

— Жалость, дурь эту, доброту — обуздай.

Тихо, будто не лежащий говорил, а брусничник шелестел.

Поклонился земно Иверсов.

— Прости, товарищ командир.... Прощай! Ах, дело-то какое!

— Иди, иди же! Ну?

Зашлепали неуверенные шаги. Зачавкали мхи.

И — опять назад. Как заблудившийся. Как птица у гнезда.

Забыл словно, оставил что-то, чего никогда-никогда не найдешь.

Голову сжал. Чудилось — потеряется, не удержится на плечах голова.

— Ах ты, дело-то какое? Ну как же? Как же таперича? Как же?

Отчаяние томило.

Но тихо, как шелест брусничника, что на кочке, над запрокинутым лицом, с черными играя волосами ветром треплется, тихо прозвучало:

— Опять — ты?.. Обуздай, говорю.

Зарыдал в голос. Побежал, как малолеток, богатырь-сибиряк.

Через несколько дней кавалерийский разъезд, имея проводником бежавшего из плена красноармейца Иверсова, после долгих поисков наткнулся на труп комполка Голубовского.

Глаза были выклеваны.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Человек, много живущий, не годами много, а жизнью, знает какую-то правду жизненную, какой-то неявленный закон ее.

Многоживущий сердце имеет открытое, ибо иначе много не вместить.

Многоживущий в безысходности выход находит, коридор такой в головокружительных закоулках лабиринта. В непроницаемой слепоте стен — вдруг! — дверь, а то и ворота широкие.

Если бы все, или хотя многие жили много — безысходность, круг заколдованный был бы бессилен.

Мрачное волшебство его не пугало, а забавляло, как балаганный наивный фокус.

Многоживущий Андрей Тропин с детства правду жизненную узнал, поверил в нее.

И была та правда, как всякая истинная правда.

И если бы спросил кто Тропина Андрея, что же это за правда такая, от которой ему хорошо, безбоязненно и не мучительно? — ответил бы и отвечал, случалось:

— Правда не особенная какая, а просто правда, настоящая. Правда — сила.

И доказательство — сказка, в детстве им найденная, о богатыре, слитым с землею.

— Встанет богатырь, упрется. И подумает только: „Мать-земля! Выручай!“ И притянет его земля, сольется будто с ним. Силу и многотяжелую тяжесть свою передаст. Точно, что он, то и земля — одно. Неотделимы.

И где же осилить такую мировую мощь! Где опрокинуть всю землю?

— Это — сказка, — разочаровываются люди.

— Это — правда, — Андрей Тропин говорит.

— Да какая же сила — правда? Зло, несправедливость чаще еще бывают силою.

— Только правда — сильна. А зло, несправедливость— насилие, а не сила.

И не свернуть с пути, не отвести в сторону в правдивые или неправдивые уверившего в законы жизни Тропина.

Как богатыря, слившегося с землею, — кто сдвинет, поколеблет?

И счастлив был Тропин. И хорошо ему было, светло.

И пошел Тропин по пути новому, проложенному многими новыми, пошел сердцем более еще светлым, чем всегда.

Не сердце, а солнце.

И возмужавший, как и все по новым идущие путям, в возмужании своем и юность, мальчишество свое сохранил.

Не причесываясь, себя не видя, не замечая, не препоясанный шел.

И путь временами тяжкий, из крестного крестный, казался свадебным в звонах троечных, в песнях заливистых, в блеске слепящем, в дух захватывающем ветре — жениховым праздничным путем.

Слава тому, чье сердце открыто!

Слава тому, чья сила — правда!

Слава юность сохраняющим в пути!

Слава юным!

Она сказала...

Она всегда говорила не так, как говорят.

Не кокетство это было, не оригинальничание, а как-то складывались слова не как у всех.

Она сказала:

— Когда вас видишь, оттепель вспоминается. Иногда, знаете, в конце зимы — тепло. Снег, а тепло. Хочется сбросить надоевшую за зиму тяжелую одежду. Кажется — выкупайся в проруби и не простудишься, даже не озяб-

нешь... Знаете, вы весенний какой-то. Солнечный. Вам, вероятно, всегда хорошо, радостно? Вы — счастливец? Необыкновенный счастливец! Не правда ли?

Он два дня как приехал с фронта, чтобы по предписанию Реввоенсовета снова ехать на другой фронт, на опасный, беспокойный, где царствовали паника, измена, дезертирство, где каждая деревня — гнездо бандитов.

У него ныла контуженная нога.

И еще: перед глазами его мелькали строки недавно полученного письма, извещавшего о гибели бежавшего из плена друга детства. Гибели от истощения, в лесу.

Он улыбнулся.

— Никакого необыкновенного счастья я не испытываю.

— Нет! Нет! Не говорите! Вот вы улыбнулись и... Разве несчастливые могут так улыбаться?

Она много еще говорила.

Он открытым своим сердцем чувствовал, что она его любит.

Если бы она спросила.

— А ты меня любишь?

Сказал бы:

— Да.

И не солгал бы. Любил.

Через два-три дня, отправляясь на фронт, в вагоне, почувствовал, что оставил что-то хорошее, радостное.

Грустно стало.

Прошептал:

— Грустно.

Но не сделалось легко, как в детстве. Не вышла облаченная в слово грусть, не растворилась, как бывало.

Тяжелая, непроницаемая стояла толпа.

Эта толпа укрывала бандитов, дезертиров. Прятала в землю, гноя, продовольствие. Случалось, убивала митингующих агитаторов.

Она и теперь молчала затаенно.

Тяжелая, непроницаемая, как стена, скала, как лес непроходимый.

Но не было ропота, выкриков и свиста. Раньше всегда так во время митинга, а теперь не было.

Комиссар Тропин знал, что не будет. И не в себя верил, не на силу своей убедительности надеялся, а верил толпе этой, не боялся ее.

Как выступил, открыл митинг, как сказал первое, призывное: „Товарищи!" — сразу поверил в толпу, почувствовал, что он, что она — одно.

Потому и верил и не боялся. Потому просто говорил, как о самом простом, что объявляется мобилизация, что дезертирство и саботаж будут караться по всей строгости закона.

И толпа, убивавшая, случалось, агитаторов, как конокрадов, так же зверски до неузнаваемости, до смешения с землею, — молчала.

И когда сходил с возвышения, с телеги какой-то ломаной спрыгивал комиссар — не было ропота, насмешек и свиста.

И проходил когда через толпу — расступались.

И глаза, в которые мельком вглядывался, много глаз — не хитро сощуренные, звериные, выжидающие (много таких было, когда открыл митинг), а детски-печальные, немигающие.

Такие печальные, немигающие и внимательные глаза бывают у сознающих свою виновность детей.

Странное, небывалое стало твориться с Тропиным.

От условий ли жизни беспокойных, опасных на беспощадном фронте, где каждый день бои, каждый миг — опасность, где отдых мимолетен и долог упорный путь борьбы, где спокойствие — мгновение, а ужас, страдание и кровь — цепь мгновений одно другого страшнее, — от

жизни ли такой странное и небывалое стало твориться с Тропиным.

Началось после одного из упорных боев под деревней Кедровкою.

По словам комбрига Жихарева, Кедровка — „могила“.

И действительно, деревнюшка в болотистой низине: обстреливай со всех сторон, пока не выбьешь.

Но Кедровка — важный пункт. В версте не больше — железная дорога, в двух верстах — река.

Потому и бились из-за нее.

Вырывали друг у друга. По три раза в неделю переходила из рук в руки. И казалось, будто из-за нее и застыли грозными фронтами неприятели, враг против врага. Казалось, из-за Кедровки этой и война затеялась и вечно будет продолжаться.

И вот, в Кедровке у Тропина и началось то странное и небывалое, что заставляло задумываться.

Заняли красные тогда Кедровку второй раз.

Ехали в нее комбриг Жихарев и военкомбриг Тропин.

И вот, на пути недолгом, лесом, опушкою, стало казаться Тропину, что всегда, всю жизнь ехал он именно здесь, вот в этом низкорослом унылом леску с деревцами, пулями обшарканными.

И так ясно почувствовалось, что, кажется, и сомнения не могло быть никакого.

Стало неловко. Не по себе.

Даже теснить стала одежда, френч. Крючок отстегнул на воротнике, хотя свежо, ветренно было. „Что за белиберда? Беллетристика, мистика, ерундистика“, — нарочно подбирал созвучные слова.

А комбриг говорил, оборачиваясь, в седле:

— Дня два побудем. И опять выбьют. Так взад и вперед и будем шляться. Третья бригада месяца два крутилась здесь.

Замурлыкал что-то. Опять оборотился:

— Будто танцуем. Пройдемся. И назад. Опять — сюда, опять — назад. Вальс сумасшедшего.

Тропин засмеялся насильно. И сказал насильно:

— Заколдованный круг.

„Расколдуем“, — подбодрил себя мысленно.

В деревню въезжали.

Неприятель делал пристрелку.

С этой Кедровки и началось.

И каждый раз, когда в нее вступали после отступления белых, ощущал Тропин то же, что и раньше.

И еще: неотступно преследовала мысль, что всегда так будет.

Всегда и везде.

И в другой деревне, и в городе. И не на фронтах, а и в детстве, в Питере, в Алтуховом даже доме так было.

„Как? И в детстве — Кедровка?“ — спрашивал себя насмешливо.

И смеялся принужденно:

„Дурак! Комиссар еще. Беллетристику развел. Тьфу!..“

Но неспокойно было.

И не Кедровка уже смущала. А всё. Будто везде проникло что-то такое кедровочное, уныло-безысходное.

„Нервы, что ли“, — думал с досадою Тропин и говорил себе твердо: „Обуздать себя надо!“

„Зло обуздай“ — вспомнились давнишние слова Тихона-студента. И Голубовский вспомнился. Смерть трагическая его.

И вдруг...

В штабе было. Бумагу, рапорт подписывал.

И перо отложил — так мысль внезапная поразила.

А мысль была: „Голубовского — не было вообще. Не умер, а вовсе не было, не жил...“

Боролся с мыслью этой. А она упорно, водой капала: „Не было, не было, не было!..“

До того стало странно и неприятно — быстро, не читая, подписал бумагу и, отдавая ее секретарю, сказал:

— А у меня, товарищ Борисов, был друг такой, Голубовский...

Сделал ударение на слове: „был“.

— Я знал одного Голубовского на колчаковском фронте, — сказал Борисов, — вероятно, тот и есть.

— Ага, знали! — вскрикнул, неожиданно для себя, Тропин. — Был? Значит, был?

Бумага выскользнула из рук секретаря. Прошелестела, упала на пол.

— Фу, как вы меня напугали! — вздрогнул Борисов, нагибаясь за бумагой.

Тропин молчал. Не рассказывал про Голубовского. К окну отвернулся.

Синее, за окном, точно вымытое сентябрьское небо. Чуть заметно проплывающие облака.

Что это?

Затуманилось в глазах.

— Чорт возьми!

Поспешно вытащил платок. Покосился на Борисова.

А в груди тесно.

В детстве, вспомнил, раз так было, плакал когда.

Ясно понял: жалко Голубовского.

Не за то, что погиб Голубовский, а за то, что мрачен и темен, как в ночи беззвездной, путь был Голубовского.

Ясно понял: прежнее, открытое его, тропинское, недавнее еще радостное сердце — тучами ли, облаками, вот такими незаметно проплывающими, заволакивается.

А если — погаснет солнце?

А если — беззвездная ночь?

И новое в жизнь Тропина вошло.

Ночь обнимала светлое, солнечное небо его.

Тоска, не знал которой никогда, тихо, незаметно вкрадывалась, вором хищным вошла в душу Тропина, в открытое сердце его.

А от тоски и страх.

В бою одном особенно сильно почувствовал.

И бой не особенный какой, не такие видал Тропин, не в таких участвовал. Перестрелка небольшая.

И вдруг — страх. И не от мысли, что убьют, не смерть пугала, а назойливый неотступный вопрос: „зачем — смерть?"

И после уже боя все стоял этот вопрос: „зачем?"

И главное: слишком велико значение слова „зачем?"

Каждое слово, если оно представляется (самое простое слово) во всей величине своей — значительно, колоссально.

И теперь, у Тропина: выросло в необъемлющую величину, в неизмыслимые размеры слово: „зачем". Все видимое, познаваемое, чувствуемое в один облеклось вопрос.

И по вопросу этому понятно стало, почему угнетала Кедровка, почему Голубовский казался несуществовавшим никогда, почему беззвездной ночью объят был его, тропинский, мир — жизнь.

И всё — необъясняемо-понятно стало.

И необъясняемо-понятен: „заколдованный круг" — „зачем".

После радости огромной, такой, как и раньше, — жениховой, — вдруг — печаль.

Чудилось: ноги его, ноги богатыря, отрывались от земли.

Изменила ли земля?

Враг ли неведомый какой осиливал?

Бессильны ли стали слова: „Мать-Земля! Выручай!"

Или — богатырь перестал верить в землю?

Дрогнула, может, богатырская сила?

Кто знает? Кто скажет?

Но только вместо радости, которая — возможность всех возможностей, наступила печаль — невозможность.

Было это в городке, маленьком, затерянном, — села бывают больше и горделивее, чем приникший тот покорный городок.

И печаль эта наступила вслед за радостью. После того, как приехала в городок она, Люся.

Она говорила:

— Я не могла больше! Я так исстрадалась. Думала сойду с ума. Я не могу без тебя.

Говорила не так, как раньше.

Просто. Без оттепелей, без солнца.

Просто:

— Не могла. Не могу без тебя.

Искренно.

Знал Тропин, что искренно.

И залились тройки свадебной лихие бубенцы, грудь захватил воздух — ветер буйный, встречу летящий свадебному поезду.

И опять восторженно шептала, глаза вперив молящие и жадные, влюбленные глаза:

— Счастливец! Счастливец! Дай на счастье посмотреть! От солнца твоего погреться.

Но печаль и тревога охватили Тропина.

Обходя однажды караулы, остро почувствовал печаль и тревогу.

На красноармейца-татарина, одиноко стоящего, взглянул — и стало печально и тревожно.

И неловко перед ним, перед татарином-красноармейцем, перед часовым.

Одинокий часовой!

Один, как часовой!

Так неловко стало, что, пройдя мимо, вернуться хотел и сказать часовому:

— Прости, что изменил тебе, часовой. Ты один, а я — не один. Я ведь тоже часовой, но я — не один.

И повернул уже назад.

И фраза эта, внезапно, без воли его в мозгу его возникшая, уже шевелилась на губах.

Но не подошел, а, глаза опустив, ускорив шаг, прошел мимо часового, равнодушно смотрящего вслед.

В тот же день говорил Люсе:

— Видеться нам часто нельзя. Да и лучше бы тебе ехать домой, в Питер.

Городок был почти в тылу. Жители не эвакуировались, но он говорил:

— Здесь — фронт. Тебе жить здесь неудобно.

Люся дулась:

— Ты меня гонишь, я отлично вижу. Все живут, а мне нельзя?..

Она не уехала. Но виделись реже.

Тропин всегда был с нею. В с е г д а. Минуты не забывал о ней.

Но — печаль не проходила.

И тревога, и неловкость.

Точно изменил ч е м у - т о.

Как-то раз почувствовал: богатырь изменяет земле.

Теперь земля не выручит.

Было страшно.

Первый раз в жизни испытал такой страх.

Сковывающий, железный, как кандальное кольцо.

Но так просто.

Это всегда п р о с т о.

Она сказала:

— У вас здесь, при бригаде, арестованный, пленный. Мой родной брат.

Тропин вспомнил:

— Да, да! Я думал — однофамилец.

— Ничего подобного. Родной брат.

Она заволновалась:

— Боже, что с ним сделают?

Тропин молчал. Он знал, что сделают. Контр-разведчик, на фронте, попавший в плен.

— Я завтра отправляю его в тыл.

Тропин сказал неправду.

Он пошлет сегодня следственный материал.

Знал, что расстреляют здесь, что ему придется отдавать распоряжение о приведении приговора в исполнение.

И знал еще, что дело люсиного брата никому неизвестно, что он может отослать его в тыл, как обыкновенного пленника.

Она спрашивала тихо, но настойчиво:

— Но что же с ним сделают? Расстреляют?

Тропин ответил:

— Да.

Не мог лгать.

Она кричала:

— Нет! Это невозможно! Я... О, боже мой! Звери! Изверги! Сумасшедшие дикари!..

Ругалась бешено. С ненавистью в голосе и глазах. Плакала долго, до истерики.

Тропин подавал воду. Успокаивал. Происходило это в ее маленькой квартирке, в доме вдовы-почтальонши, на окраине города.

У порога лежала. Растерзанная. В ленты рвала не платье — уже — лохмотья.

Тела не стыдясь обнаженного, кричала до сипоты:

— Не уйдешь, пока не скажешь: „Да!“ Или по мне пойдешь? Через меня, через невесту — переступишь?

Он молчал. Он знал: будет надо — переступит.

Она, не ослабевая, кричала.

Требовала, молила, чтобы он прекратил братнино дело.

— Ведь никто-никто не знает, сам говорил. Отправь в тыл... Ведь он же безвреден будет там для твоей партии. О, ты сделаешь это, да? Ведь, да? Ну скажи: „Да!“

Он молчал.

Первый раз понял, что и „да“ бывает, как „нет“.

И потому, с трудом, но твердо ответил:

— Нет!

Ползала у ног, ловила его ноги, в отчаянии и тоске безмерной молила:

— Нет, ты не сделаешь этого! Ты же любишь меня. Ведь не сделаешь, да?

— Нет! Не могу! Ты пойми...

Говорил много о том, что ясно, на что и слов тратить нечего.

Ясно: Нельзя! Ясно: Нет!

И двух слов, оба в пять букв, так ужасна была борьба.

И понял сразу, не мыслями, а как-то всем собою, всеми чувствами, жизнью своей всей: настоящей, прошедшей и даже будущей, понял, что такое заколдованный круг. Ни „зачем“, как думалось раньше, а: круг тот — из двух слов: „да“, „нет“.

И еще понял: расколдовать или, наоборот, заколдовать его, этот круг, еще сильнее можно опять-таки этими же словами: „да“ или „нет“.

И страх, и тоска, и неловкость — пропали мгновенно, и силу почувствовал в мыслях и ясность, каких никогда не бывало.

И радость, радость — хоть смейся. Твердо на земле (которая — он сам) незыблемо стоял богатырь.

Выручила правда — земля.

Сделал шаг к двери.

Люся вскочила. И глаза ее (навсегда запомнил Тропин) были знающими.

Тихо прошептала.

— Ты... не любишь... меня?..

Он также тихо:

— Люблю, но не так, как люблю...

— Как — что?

Спросила не как — кого, а что.

Молча сделал еще шаг.

Она открыла дверь:

— Иди! Уйди!..

Голос ее задрожал.

Звонко крикнула вслед:

— Проклятый! Убил меня! Убийца!

На минуту, обезумевшая, выбежала:

— Убийца!

На другой день Тропин получил два пакета: один — из тыла, в ответ на „следственное производство" о контрразведчике Любимове.

В конце стояло: „По исполнении немедленно донести".

Второе письмо — записка. Два слова: „Убийца! Проклинаю!"

Через час, не больше, прибежал мальчуган, приносивший записку.

Задыхался. Бежал, вероятно, с самой окраины.

— Товарищ... комиссар... Барышня...

Тропин смотрел на раскрасневшееся, потное лицо мальчика, на испуганные глаза.

Все понял.

Закружилась голова. Но совладал с собою.

— Ишь, запыхался. Ну что — барышня?

— Барышня... отравилась.

Вздрогнувшей рукой погладил мальчика по мокрым волосам и недвижимыми губами произнес:

— Иди... Милый.

Взял портфель. „Портфель, — думал напряженно, — зачем — портфель?"

Стоял минуту, держа в обеих руках сложенный вдвое портфель.

Вспомнил: в портфеле — бумага, утром полученная из тыла.

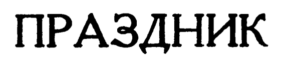
Вспомнил, в конце той бумаги значилось: „По исполнении немедленно донести...“

Вечером того же дня комбриг спрашивал Тропина:

— Неужели вы сами расстреляли того... Любимова, что ли?.. Собственноручно?

— Да, — ответил военкомбриг Тропин.

1924 г. Лето.



ПРАЗДНИК

I

Ленька Драковников с матерью живут в конце Моловской.

За домом — поле, ветка железнодорожная, вдали — лес. Весною лес — лиловый, летом — темносиний, осенью черный и еще чернее — углем — зимою.

Ленька — на заводе. Мать поденно стирает, полы моет.

Отца убили, когда с петицией ходили к царю. Много тогда пострадало.

Прохор, котельщик, и посейчас ходит — приплясывает — коленную жилу перебила пуля. А Крутикова, кузнеца, Олимпиада, дочь, с кавалером, Ганей Метельниковым, убиты оба. Как шли под руку, так и убиты.

И в мертвецкой, в Ушаковской больнице, так и лежали рядом, застыли, долго не разъединить было.

Так, рядом: кавалер с барышней, жених с невестою. Сам кузнец об этом рассказывает, когда пьяный.

Страшен рассказ пьяного кузнеца.

Не дыша слушают. Молчат. Вопросов — никаких. Да и какие вопросы? Когда операцию тяжелую делают, говорят ли с оперируемым?

Швы на сердце класть и вдруг: „Как да что?“ — Разве это можно?

Страшен рассказ Крутикова о дочери с женихом. Просто. Точно. Одинаково всегда. Без ропота, ругани, плача. Только глаза — пламень.

И тяжко сжатый, молотом на коленке, кулак.

У Леньки Драковникова рана в роде кузнецовой.

Отца убитого помнит. И убийц знает — царь и опричники.

Когда кто незнакомый спросит — отвечает:

— Царь убил.

А лицо не дрогнет. А глаза темнокоричневые — черным огнем.

II

Ленька, мальчуганом еще, с Мишей Трояновым познакомился.

Миша из „чистых“, банковского служащего сын.

Ленька босиком, как и полагается в апреле, а Миша в ботиночках со светлыми галошами, в форменной шинели — в реальном учился.

Познакомились в драке.

На ветке железнодорожной Ленька „посадских“, воробьев из рогатки, а Миша (в тот день он реальное прогуливал) — чашечки на телефонных столбах расстреливал.

Леньке это помеха.

Воробьев спугивал, да и чашечки разбивать — зря.

Ленька пригрозил. Миша носом не повел. Ну, стычка.

Ленька хотя „накепал“ Мише, но и тот прилично хлестался.

Ничего, что реалист!

И не плакал, а ведь нос ему Ленька расквасил и фонарь подставил — мог бы заплакать вполне.

А он — кровь высморкал на шпалы, ругнулся, правда, бледновато: „мать“ не там, где надо, вставил, а потом ремень снял и медную пряжку к синяку.

Бывало, значит!

Все это Ленька учел и одобрил и, в виде похвалы:

— Ты шикарно хлещешься.

А Миша спокойно:

— Дашь рогаточки в воробьев пострелять, а?

Так и познакомились. Потом подружились.

Миша оказался хорошим товарищем. На реалиста только фуражкой похож, да и то стал значок снимать, гуляя с Ленькой. Канты только желтые — ну, да канты что: нищие и те очень даже часто в генеральских с красными околышками фуражках щеголяют. Ботинки у Леньки на квартире оставлял, босиком бегал из солидарности.

Артельный. В любую игру — не последний, в драке не спасует.

Бывало „шкетовье" налетит вороньем — не отступит. Бьется, пока руки не опустятся, либо с ног собьют.

Но пощады не запросит — парень — что надо.

Только по фуражке — реалист, а так — нормальный парень. И видом — хорош. Волосы — на козырек, походка — вразвалку и по матушке крошит. (Ленька его обтесал.)

Многому Ленька его научил: курить махру, сплевывать, „цыкать" сквозь зубы, свистать тремя способами через пальцы, засунутые в рот: „вилкою", „лопаточкой" и „колечком".

Особенно „колечко" Мише удавалось — ни дать, ни взять фараонов свист, трелью.

А в юных годах за девочками приударяли.

У Леньки Паша была из трактира „Стоп-Сигнал" — услужающая барышня, лет 17-ти, что бочонок — кругленькая, подстановочки — тумбочками.

Крепенькая девочка.

У Миши — Тоня, голубоглазая, нежненькая, портниха.

На католическом кладбище, в Тентелевке, гуляли в летние белые ночи.

Ленька тогда на подручного слесаря уже пробу сдал, а Миша из пятого в шестой перешел.

III

Долго не приходил Миша к Леньке.

Вдруг, часу в двенадцатом ночи, пришел.

Весною было.

Ленька удивился.

— Ты чего этакую рань приперся?

Шутит.

А тот — серьезно:

— Пойдем. Дело есть.

Покосился на спящую ленькину мать.

— Куда пойдем? Я уже разулся. Спать хочу.

— Ну, чорт с тобой! Дрыхни.

Фуражку надел, руку сунул:

— Прощай!

— Да ты чего пузыришься? Говори, в чем дело, матка спит, говори, — задержал мишину руку Ленька.

— Нельзя здесь, — твердо ответил Миша.

— Ну, погоди, оденусь.

Вышли во двор.

— Пойдем на ветку, — предложил Миша.

Пролезли через выломанный забор заднего двора. Перепрыгнули через канаву.

Была тихая мартовская ночь. Звездная. Без морозца. Снег, уцелевший местами, не хрустел, а мягко поддавался ногам. Насыпь сухая была.

Сели на шпалах, под откос ноги свесили.

Миша опять закурил. И Ленька.

Помолчали.

— Хочешь в революционеры записаться? — вдруг спросил Миша тихо, словно боясь, что кто-нибудь услышит.

Ленька вздрогнул.

Миша стал рассказывать.

Вышло так: в Петербурге существует боевая революционная организация для свержения царского строя пу-

тем террористических актов, вооруженного восстания, агитации среди рабочих и солдат. Миша — член этой организации, вступил недавно.

Говорил Миша быстро, без запинки, как по книге или прокламацию читая.

Говорил, не спрашивал Леньку. И тот молчал.

Радостно и жутко было Леньке.

И познaлось, определилось это чувство почему-то словом „Праздник“.

IV

Кто-то выдал Троянова и Драковникова и еще двух, но выдал неумело. Никаких улик. Видных членов организации предательство не коснулось.

„Мелко плавал, спина наружу!“ — подумал Ленька о провокаторе, когда его допрашивал в охранке жандармский ротмистр.

Показания арестованных сводились к одному:

„Ни к какой революционной организации и партии не принадлежал и не принадлежу“.

А Ленька, чтобы ротмистра позлить, приписал еще: „и принадлежать не буду“...

Эти слова жандарм, ругаясь, похерил.

Охранка бесилась от наглого упорства допрашиваемых. Знала отлично, что есть что-нибудь, иначе не стал бы провокатор доносить, но все четверо, как один:

„Знать не знаю и ведать не ведаю“.

Молодо, глупо, действительно, но дело на точке замерзания.

Даже специальные способы знания не помогли.

Да и где помочь? Крайних мер принимать нельзя: битье, измор — от всего этого может получиться.

Наконец, особое совещание охранки предложило полковнику Ермолику „изыскать средство для раскрытия истины“.

Средство изыскано: человеку не дают спать!

Сутки, двое, трое, четверо!

Сколько выдержит.

Пока не свалится. Пока не разбудят: удары, встряхихивания, холодная вода, уколы раскаленными иголками в позвоночник, выстрелы над ухом — когда все эти возбуждающие средства бессильными станут, тогда, конечно, пусть спит, ничего не поделаешь.

Но вернее — раньше сдастся. „Раскроет истину".

Сразу обоих, тех, что помоложе: Троянова и Драковникова начали пытать.

В разных комнатах.

Два шпика — к одному, два — к другому.

Дело несложное. И приспособлений почти никаких. Иголки только, ну, да они на седьмые-восьмые сутки потребуются, не раньше.

V

Сначала Мише интересно было.

Закроет нарочно глаза, а охранники оба сразу:

— Нельзя спать!

Или:

— Не приказано спать!

Засмеется и смотрит на них: „Экие, думает, дураки, серьезно и глупость делают".

Сменялись через шесть часов. А он без смены.

Сутки проборолся со сном. Голова отяжелела, но бодрость в теле не упала.

Кормили хорошо: котлетки, молоко, белый хлеб.

На вторые или третьи (хорошо не помнил) сутки беспокойно стало.

Так-таки вот беспокойно. Будто ждет чего-то с нетерпением, каждая минута дорога — а вот, жди.

Скучно ждать, невыносимо.

„Чего ждать, чего я жду?" — спрашивал себя.

И вдруг — понял.

Ждет, когда можно спать лечь, заснуть когда можно, ждет.

Проверил. Верно. А проверил так: глаза закрыл и само почувствовалось: „Дождался“.

Именно — почувствовалось.

Как очнувшийся от обморока чувствует: „Жив“.

Задрожал даже весь. От радости! Нет!

От счастья! Первый раз почувствовал: счастлив.

В застенке, в пытках — счастье, от самых пыток — счастье.

Но миг только.

Вдруг увидел: в воду упал. С барки какой-то.

Вскрикнул. Глаза открыл.

Неприятная в теле дрожь. Мокрый весь.

А рядом — не сидят уже, а стоят, и он — стоит, рядом стоят шпики.

На полу — ведро.

Догадывается: „Водой облили“.

Холодная, неприятная дрожь. Обиды — нет. Усталость — только.

А они, шпики — не смеются.

Не смешно им и не стыдно, что водой человека окатили. И не злятся. Спокойны.

Один даже говорит:

— Переодеться вам придется. А то мокрые совсем.

Так и сказал: „Мокрые совсем“.

В другой смене пожилой охранник, в форме околоточного, пожалел даже:

— Напрасно, молодой человек. Сказали бы, что знаете. Себе только вред и мучение.

— Я ничего не знаю.

— Наверное, знаете, — вздохнул околоточный, — зря полковник не будет...

Молчал Миша. И шпики молчали.

И опять стало казаться, что „ждут" чего-то и они, эти, что не дают ему „дождаться", тоже — ждут. И все — ждало.

Они, трое: Миша и два охранника, и комната с забеленными мелом окнами, за которыми, за мелом, тени решеток, а вечером — окна, как окна — белые только, стол некрашенный, длинный, в роде гладильного, диван кожаный, табуретов пара — вся эта странная комната, со странной сборной мебелью, неподвижным унылым светом угольной лампочки освещенная, — все ждет.

И люди странные, и комната странная — все.

И ждать — мучительно. Ждать — терпения нет.

Чувствовал и Миша, что миг еще, минута — нет! Секунда — нет! Терция — нет! Миг — не укладывающийся в мерах времени — сейчас вот-вот — лопнет!

— Скоро ли? — не говорит, а стонет, не жалобно, а воя.

И глазами — то на одного, то на другого.

И, должно быть, глаза не такие, как надо, — оба вскакивают и в упор на него.

А он тянет всем:

— Скоре-е-е... Не могу-у-у... больше-е-е...

И внезапно, отчаянно, обрывая:

— У-у-бейте!

И опять:

— У-у-у...

Словню занося тяжелый топор и опуская сильно: бейте!

И так много раз под ряд.

Шпики суетятся. Один бежит в дверь. Другой подает воду.

А через несколько времени гремит замок — висячий на дверях замок, и входит ротмистр.

В пушистые, в бакенбарды переходящие усы, говорит:

— Пожалуйте на допрос!

Сам Миша не идет, ведут, — спит.

Без снов, глубоко спит, как в обмороке.

Острая, жгучая боль в спине. Кричит. Глаза открывает. Мягкий, бело-голубой свет.

Стол большой перед глазами, и нестерпимо блещет белый лист бумаги на нем.

И кто это напротив? Пушистые русые усы! Кто это?

„А, — вспоминает: — ротмистр!“

— Хотите спать? — мягко, точно гладит, ротмистр.

Или это слово „спать“ — гладкое такое, как бархат, ласковое?

Улыбается Миша.

Счастлив от слова одного, от обыкновенного слова: „спать“.

Говорит нежно, радостно, неизъяснимо:

— Спать... спать... спать...

Сладко делается даже от этого слова, рот слюной наполняется.

Жандарм опять, поглаживая:

— На один вопрос ответите, — и спать. Ведь ответите? Да?

— Да... да... да...

— Льва Черного, Степана Рысса, Кувшинникова, Анну Берсеневу знаете?

— Льва Черного, Степана, Кувшинникова, Анну, — повторяет, как во сне, как загипнотизированный, Миша.

Четко, ходко мелькает перо, зажатое в толстых ротмистровых пальцах.

— Анну Берсеневу?

— Анну Берсеневу, — полусонно отвечает Миша.

— Где виделись?

Миша не понимает. Потом — вдруг понимает: „Выдал“, — остро в голове, как колючая недавно в спине боль, — остро в голове кольнула мысль.

— Не знаю, — с трудом, но твердо отвечает.

— Уведите его! — кричит ротмистр, и голос его жесткий и щетками — жесткие усы.

„Опять—не спать, опять—не спать, опять—не спать!..“

Песней, стихами в голове, и особенно страшно созвучие слов „опять“ и „не спать“.

Исступленно, топая ногами, кричит:

— Не могу, не могу, не могу!.. Спать... спать... спа-ать!

— А будешь говорить? Скажешь — все, что знаешь?

Пушистые перед лицом Миши шевелятся усы, и кажется, что они, усы эти, говорят.

А глаза зеленовато-желтые колючими гвоздями.

— Буду... Скажу... Что знаю...

Говорит. Ротмистр пишет. Знает Миша немногое. Про Драковникова упомянул — тот больше знает.

Воли уже нет, есть одно: спать, спать...

Быстро, весело мелькает перо, зажатое толстыми пальцами жандарма.

Протягивает Мише бумагу.

— Здесь. Вот здесь. Крепче ручку, миленький. Имя и фамилию, да, да!.. Ага! Прекрасно, голубчик. Спите теперь спокойненько.

Мишу выносят на руках, несут через двор, в карету. Спит.

— В больницу прямо сдадите, в „Крестах“. Доктору Шельду! — громко говорит кто-то из темноты подъезда.

VI

Леньке значительно хуже было.

Связанного, пытали шпики. А Ленька — бунтует.

Из матери в мать — шпиков и ротмистра. Тот и заходить перестал.

А как же Леньке себя вести? Миндальничать? С ними, что его отца убили?

Да и отец ли один? А Олимпиада Крутикова, а Метельников, а калека, Прохор котельщик,— не ихние разве жертвы?

Да только ли эти жертвы?

Пытают? Чорт с ними! Пусть пытают! Спать не дают? Они жить не дают не ему одному, а целой стране, целому миру. А спать — эка невидаль!

И он упорно борется со сном: с наслаждением борется. И кажется ему: — победит.

Вера или воля? — десять суток без сна, — осунулся только, ослаб, но тверд дух, и голос — чист и звонок, как всегда. Лишь глаза — ямами, провалами, расширенные зрачки — без блеска. Жуткие глаза!

Встречаясь с ним, колющие глаза агентов отбегают, как от пропасти.

Но когда побеждала усталость...

Точно мягче становилось все: тело, голос, мысли даже. Мысли мягкие, припадающие, как хлопьями ложащийся снег, как свет лунный, бледный — бледные мысли — поля лунные, снежные, зимние.

Поле, поле, ровное, искристое, луной залитое, ночное поле... В тройке, бубенцы веселые под дугой — в тройке едет Ленька, пьян-пьянехонек, песню поет.

И звенит голос, как колокольчики троечные.

Вдруг — острая, жгучая боль в спине.

Крик.

Поле, тройка — пропадают.

Комната. Агенты. Зло усмехаются.

— Спать вельзя, голубец!

Говорит круглолицый, волосы — черной щеткою.

— А тройка? — спрашивает полусонный Ленька.

— Не угодно ли пятерку? — смеется черный.

Другой, узкоглазый, как китаец, вторит:

— Шестерку. Лакея ему надо. Хи-хи!

Ленька, искушенный сном, решает, что невозможно больше не спать, а так как спать не дадут, то придется обманом как-нибудь.

„Воровать сон для себя. Покой, необходимый для каждого, красть“.

„Чорт с ними, буду спать!

Закрывает глаза, откидывается на спинку дивана.

Укол в спину. Как ток электрический.

— А-а! Чорт!.. Сволочи! Опричники! — вскрикивает Ленька.

Исступленно ругается страшной руганью, которая статьями уложения о наказаниях предусматривается: бога, царя, веру, закон — как черноморский матрос.

Не... замолкает.

Не хочется — ничего. Ни ругаться, ни говорить, ни двигаться, ни смотреть.

Главное — смотреть. Все предметы: стены, мебель, даже шашки паркетного пола — невыносимы для глаз: кажется, в глаза лезут, рвут веки, расширяют до боли — невозможно смотреть.

А закроет глаза — огненные иголки по спине пляшут.

А потом делается смешно. Задорная мысль приходит.

— Доложите ротмистру, чтобы на допрос вызвал, — говорит черноволосому агенту.

Ротмистру Ленька деловито:

— Позвольте бумаги, сам буду писать показания.

— Лучше по вопросам, — предупреждает тот.

— Потом вопросы, а сейчас сам буду писать. Все до словечка — все!..

И ребром ладони наотмашь: все.

Жандарм потирает руки, белые, пухлые, с обручальным кольцом и перстнем-печаткой на безымянном пальце.

А Ленька вздрагивающей слабой рукой неровно выводит:

„Никаких показаний давать не буду, так как не намерен содействовать следствию“.

Ротмистр багровеет, ругается тяжело и злобно, как извозчик на упрямую лошадь, и, когда Леньку связывают, кричит надорванно, с пеною на пушистых усах.

— Хорошенько, стервеца, морите! Он спит у вас, наверно? Я вас, мерзавцы!

Грубо ведут по темным коридорам, злобным шопотом ругаются шпики, Ленька молодым, звонким, тьму затхлых коридоров разрывающим голосом — кроет все на свете: бога, царя, веру, закон и жизнь и смерть — все.

VII

Новый способ придумал Ленька: спать с открытыми глазами и ногой качать.

Придумал или само так вышло.

Чтобы не видеть открытыми глазами режущих веки предметов — туманил глаза сильным напряжением глазных мышц и невероятным усилием воли удерживал веки, чтобы не опускались.

Сначала долго не мог добиться этого „обманного“ сна, но потом как-то удалось.

И еще: стал качать ногой.

Сперва тоже не клеилось: заснет — нога с колена соскакивает, или остановится — не качается.

Но потом пошло: и когда спал и сны видел, чувствовал, что открыты — точно на подпорках — веки, и качается нога.

И если падали веки, прекращалось качание ноги — просыпался.

Но шпики все-таки обнаружили обман.

По храпению, дыханию ровному, глубокому, немиганию век и помутившимся глазам.

И снова — иголки и удары...

На шестнадцатые сутки, уже давно выданный Трояновым, принесенный агентами на допрос, Драковников слабо, но гордо и насмешливо сказал:

— Никаких показаний... Уже писал и расписался. Чего же еще?

Ротмистр и Ермолик, изыскавший радикальный способ для „раскрытия истины“, молча и пытливо всмотрелись

в жуткие провалы глаз на бледном лице и прочли в них:

— И смерть не страшна.

Увезли. Тоже в тюремную больницу.

VIII

Выдавший товарищей Троянов — потерял душевный покой навсегда.

Жизнь стала сплошной бессонницей.

Мучился долго и тайно.

Но человек привыкает ко всему. Привык и Троянов к новому себе — к предателю себе — привык и даже малодушному поступку своему оправдание нашел: каждый делает то, что предпишет ему какой-то закон — неузаконенный, может, а закон. И если предательство — беззаконие, то закон этот — закон беззакония.

Выдумал так, уверил себя.

Но Драковникова стыдился, хотя тот ничего не знал о его посту́пке — охранка умолчала.

Стыдился, а потом возненавидел. И был рад, что сослали обоих в разные места: его в Туруханский край, Драковникова — в Якутку.

И, в ссылке живя, ненависть ко всем политически-чистым разжигал, уверяя себя, что он, предатель, по закону беззакония, грязен, беззаконен — должен и линию свою вести как надо.

Если беззаконие, грязь — так во всем.

И живя в ссылке, вел себя буйно.

Пьянствовал, картежничал, дрался, девушек бесчестил.

Но в глубине души чувствовал, что покой потерян.

А Драковников, в Якутке, сблизясь с ссыльными, многому научился, книг перечитал больше, чем съел за всю жизнь хлеба.

Радовался новой жизни, знаниям добытым.

И в революцию русскую, освобожденный как и все из ссылки, в Питер, в новый, праздничный Питер, приехал праздничным.

В Питере товарищи встретились, и хотя Миша не тот стал: „разочаровался, в ссылке пробыв“, как объяснил Ленька перемену в товарище, — но обрадовался далекому первому другу.

И жили, как и раньше, дружно; по крайней мере, Леньке так казалось.

Наружно Миша поддерживал прежние отношения. Но политических убеждений он, по его словам, не имел уже никаких.

Спорили часто, и однажды, горячо поспорив, поняли оба, что касаться политики не стоит и, чтобы не испортить прежних отношений, дали слово спора никогда не затевать.

Но прежних отношений — не было.

Сознавали: Троянов, что для него, бывшего бойца, а потом, предателя, нет праздника.

Драковников, боец с первого шага на пути борьбы — до шага победы, сознавал: пир для него, праздник для него и место на празднике — борьбе — жизни — такое, как и всем бойцам.

Весь мир тогда разделился на праздничных и непраздничных, живых и мертвых.

Так жили вместе чужие, под одной кровлей.

Потом вместе и на фронт попали.

И в один полк: Драковников — комиссаром, Троянов — адъютантом.

На фронте, в тяжелых, лихорадочных, невыносимых условиях чувствовал Драковников, что все в нем и кругом — празднично, и рассказывал об этом даже Троянову.

IX

Комиссар Драковников и адъютант Троянов, раненые оба, захвачены белыми.

Оба приняты за красноармейцев — с винтовками в первых рядах шли в наступление.

Пулеметом их взяло.

Маленькая деревенька настойчиво обстреливалась выбитыми из нее красными. До тридцати пленных, в том числе комиссара и адъютанта, представили пред грозные очи всероссийского бандита-генерала.

Седой, красный, в светлой шинели с блещущими погонами, перегнувшись на седле, хрипло кричал:

— Кто коммунисты? Выходи! Не то третьего расстреляю.

Багровело и без того красное лицо, и большая, жиром заплывавшая, рука расстегивала кобур.

Огражденная штыками, как частоколом, молча стояла шеренга пленных.

— С правого фланга каждый третий два шага вперед, арш! — до синевы побагровел генерал.

Первый третий, телефонист штаба полка, латыш, вышел, задрожав мелкой дрожью, но справился — только хмурое лицо посерело. Второй третий, Троянов,—белый, как снег, приподнявший раненое плечо, тихо проговорил:

— Я укажу... коммунистов.

— Укажешь? Прекрасно.

Генерал зашевелился в седле.

X

День особенно радостный.

Оттого ли, что первый теплый, солнечный?

Оттого ли, что праздничный?

Колоннами, с красными знаменами, плакатами шли и шли с утра.

В этот день Троянов чувствовал себя особенно плохо.

Тоска невыносимая.

Бродил по улицам праздничным, среди праздничных людей — один.

Угрюмо, уныло шагал, точно за гробом любимого человека.

Думы разные: об одиночестве, о празднике, о расстрелянном Драковникове.

Унылыми обрывками, как в непогодь дождливые облака, плывут мысли.

Троянову не уйти с улицы. Уходил, впрочем, домой. Но дома — нестерпимо: давят стены, потолок, как в гробу.

И опять на улицу.

А кругом веселье, радость.

Весна. Праздник.

В улицу свернул, где не было шествия, в боковую гладкую, солнцем залитую.

Остановился.

Вдалеке плывут-проплывают черные толпы, как черные волны, и красно колеблются ткани, как красные птицы.

Чудилось, что стоит на последней пяди, а сзади — стена.

Хлынет море и затопит. А сзади — стена.

И вот — хлынуло.

Хлынула, накатывалась волнами новая толпа манифестантов, и с нею вместе накатывается в блеске и зное солнца кующаяся песня, неумолимая, как море, — песня:

„Лишь мы, работники всемирной“...

Сейчас накатится.

Толпа черным, многоногим телом заливает, как волнами, мостовую.

Толпа — о д н о, как волны — неотделимы от моря. Волны и море — одно.

И красными чайками — знамена.

Не помня себя, отделился от стены, сошел с последней пяди и крик издал звериный, задавленный какой-то, похожий на крик эпилептика, и грянулся под ноги идущих. Кричал громко, раздельно, как заклинания:

— Волна! Топи! Скорее! Захлестни!

— Ваше имя, отчество и фамилия? — спрашивает человек в ремнях.

Вынимает из портфеля лист бумаги, кладет на стол.

Троянов называет себя.

Несколько пар глаз напротив и с боков неподвижно уставились в одну.

— Чем вы объясните, гражданин, ваше поведение на улице при появлении манифестации?

— Постойте, товарищ! — прерывает Троянов.

Человек в ремнях удивленно и пристально смотрит на него.

А он тихо, но внятно:

— Я, Троянов Михаил Петрович, уроженец Петербурга, провокатор, выдавший в 19** году организацию „С. С. Т.“, кроме того, на N-ском фронте предал комиссара N-ского полка, товарища Драковникова, расстрелянного белыми в деревне С.

Потом он ясно и обстоятельно отвечает на вопросы, рассказывает, как выдал еще в царское время членов боевой организации, потом так же подробно — о пред[illegible]нии им и расстреле белыми Драковникова.

Человек в ремнях задает вопрос:

— Что вынудило вас на ваш поступок на улице сегодня? И вот на это... признание?

Тихо, но внятно отвечает:

— Праздник.

— Объясните яснее, — снова говорит человек в ремнях.

Но ответ тот же:

— Праздник.



ОШИБКА

I

Только накануне страшного того дня горячо поссорился Николай Акимович с женою.

Никогда за шесть лет совместной жизни не было такой дикой ссоры.

С кулаками — к испуганной женщине. Зубы стучали. Дрожало что-то за ушами.

А жена — в слезах:

— Сумасшедший, я боюсь тебя! Жить с тобой не буду!

Хватала, отбрасывала и снова схватывала одежду, с треском зашнуровывала ботинки.

Потом, заплаканная, наскоро напудренная, хлопая дверьми, натыкаясь на мебель, — ушла. К сестре. Жаловаться. Поплакать. Успокоиться.

И вот, на другой день, Николай Акимович, придя домой, нашел жену в спальне, на полу, зарезанной.

Когда давал показания в милиции о случившемся — понял по вопросам дежурного помощника начальника районной милиции, что близко-близко что-то опасное, точно пропасть, обрыв.

Потом шли он, помощник, милиционеры. Молча. Поспешно. Всю занимая панель.

В квартире толкались, совались в углы. Шкапы открывали, комоды. Цедил, про себя точно, помощник:

— Браслет, говорите? И кольцо? И только?.. Немного... Не успели, вероятно... Или...

Быстрый, щупающий взгляд. И от этого взгляда — опять: пропасть — вот!

После второго допроса следователь хмуро, не глядя:

— Я должен заключить вас под стражу.

— Почему? — тихо, затвердевшими губами.

— Показания сестры вашей жены не в вашу пользу. Накануне убийства вы ведь грозились убить жену. Поссорились когда, помните?

— Поссорился — да... Но убить?.. Что вы!

— Во всяком случае, впредь до выяснения.

Вошедшему охраннику коротко:

— Конвоира.

В шумной камере угрозыска почувствовал себя спокойнее, — будто ничего не произошло.

Длинноносый какой-то, с живыми карими глазами, подошел:

— Вы, гражданин, по какому делу?

— Видите ли... У меня... жену убили... Налетчики, конечно...

— А вас за что же?

Веселые блеснули глаза.

— Чорт их знает!

Возмутиться хотел, но не вышло — в пустоту как-то слова.

А длинноносый вздохнул разочарованно.

Слышал Николай Акимович:

— Мокрое дело. Бабу пришил.

— Здòрово!

Смех. Выругался кто-то сочно. Голос из угла:

— Вы, гражданин, из ревности?

— Ничего подобного... Понимаете... — направился к говорившему.

— Не из ревности, а из нагана, — кто-то в другом углу.

Камера задрожала от смеха.

Стало неловко и досадно. Но все-таки, когда затих смех, сказал ни к кому не обращаясь:

— Это ошибка.

Приподнялся на нарах черноволосый, цыгански-смуглый. Прищурился:

— Что же вы нам заявляете? Заявите следователю.

— Да я не вам...

Умолк. Противно говорить. Лег на нары.

В ушах — ульем — шум.

II

Освоился. Пригляделся к новым товарищам. Знал уже некоторых по фамилиям, кличкам. Не нравились все. Наглые, грубые, вечно ругающиеся, даже дерущиеся.

Особенно неприятное впечатление производили двое: Шохирев, по кличке Сепаратор, слывущий в камере за дурачка, маленький, со сморщенным птичьим лицом, по которому не угадать возраста, и Евдошка-Битюг, самый молодой в камере, но самый рослый и сильный, по профессии — ломовой извозчик.

Евдошка почти все время занят травлей Шохирева, в чем ему деятельно помогает камера.

Обыкновенно утром, после чая, кто-нибудь начинает:

— Битюг, какой сегодня порядок дня?

Парень чешет за ухом и отвечает деланно-серьезно:

— Сегодня, товарищи, первый вопрос — банки поставить Сепаратору, потом — перевозка мебели, — это уж по моей специальности; потом — определенно, пение.

Шохирев быстро садится на нарах и взволнованно обращается ко всем:

— Товарищи, бросьте, ей-богу! Я совсем больной!

— Вот больному-то и нужно банки! — хохочут в ответ.

А сосед Николая Акимовича, рыжеватый, веснущатый парень, со странной не то фамилией, не то кличкою — Микизель, — радостно возбуждается:

— Сейчас его Битюг упарит! Здоровенный гужбан, чорт!

Все с жестоким интересом разглядывают испуганную фигурку Сепаратора, забившегося в угол, хнычущего, как ребенок.

В диком восхищении хохочут, когда Евдошка, не поднимаясь с нар, ловит Сепаратора за ноги, дергает, зажимает голову коленями, не торопясь, задирает на животе рубашку, захватывает, оттягивает кожу и ударяет ребром ладони, большой и широкой, как лопата.

И, покрывая визгливый вой жертвы, кричит:

— Кто следующий? Подходи!

Торопясь, со смехом, подходят. Оттягивают. Бьют.

Дальше Битюг берет Сепаратора за ноги, держа их на манер оглобель, и, не торопясь, вразвалку ходит по камере, грузно переступая босыми мясистыми ступнями, а Сепаратор, держась только на руках, после двух-трех концов ослабевает, опускается на пол, и Битюг волочит его по полу.

Это и есть перевозка мебели.

Камера в восторге, особенно рыжий Микизель. Он валяется от хохота.

— Битюг! Рысью вали! Битюг!

Захлебываясь, кричит.

А Битюг поворачивает широкое темное лицо и говорит спокойно:

— Рысью нельзя! Не выдержит!

— Зачем он его так мучает? — спросил Николай Акимович Микизеля.

— А так! Здоровый. Да и скучно. Молодой, — играть хочется.

— Однако, игра. Ведь убить так можно.

— Это верно,— весело согласился Микизель, — такой чорт давнет — мокро будет от Сепаратора.

А задыхающийся, замученный Сепаратор, сидя на полу, пел визгливым голосом.

Евдошка, широко расставив ноги, стоял над ним и от времени до времени заказывал:

— Теперь „Яблочко“, — говорил серьезно, не торопясь, не обращая ни малейшего внимания на гогочущих во всех углах товарищей.

И в фигуре его, большой и громоздкой, в наклоне толстой шеи, переходящей крутым скатом в могучие лопатки, в широком мясистом заде и в твердом упоре крутоступных ног чувствовалось что-то тяжело-сильное, неумолимо-животное, битюжье.

И когда смотрел Николай Акимович на обоих: на Сепаратора, мужчину, похожего на заморенного мальчугана, и юношу — Евдошку, напоминающего циркового силача, казалось ему, что ошибка какая-то произошла.

Как-то вышло по ошибке непонятной, что один, вот человек, до зрелых доживя лет, обделен в силе тела и ума, а другой — юноша еще — ростом вытянулся и еще расти будет, костью широко раздался и мяса, и силы нагулял и еще нагуляет.

И было тяжело почему-то Николаю Акимовичу, и казалось, что его участь чем-то походила на участь слабосильного, слабоумного Шохирева.

III

С каждым днем издевательства Битюга над Сепаратором становились возмутительнее.

Дошло до того, что Сепаратор при одном приближении мучителя забивался в угол, а Евдошка останавливался против него и протягивал руку, шевеля пальцами.

Сепаратор испуганно вскрикивал:

— Битюг, не тронь! Оставь!

Кругом хохотали. Микизель радостно удивлялся:

— Чорт Битюг, вот страху нагнал! Совсем дураком сделал!

Иногда Битюг забирался на нары и ложился рядом с Сепаратором. Приказывал:

— Рассказывай сказки.

— Я не знаю, — лепетал Сепаратор.

— Как не знаешь? — деланно сердился Битюг, — чего ж ты зря на свете живешь? Рассказывай, а то...

Он приподнимался на локте, глядя в упор на Сепаратора.

— Ну? Слышишь?

Отовсюду кричали:

— Вали, Битюг, пускай рассказывает!

— Правильно! Чего он вала вертит?

— Товарищи! Я не умею! — жалобно молил Сепаратор, — ей-ей, ни одной не знаю!

Битюг подвигался к нему.

— Ну, не надо, не бей, я... сейчас!..— пугался Шохирев.

Начинал. Несвязное, дикое, созданное идиотской фантазией, не сказка, не быль, — бред затравленного, от которого требуют невозможного.

Все хохочут. Евдошка говорит сердито:

— Ты чего лепишь? Разве это сказка? Смотри, худо будет.

— Братцы! — кричит Сепаратор, — я же не умею!

— А вот сейчас заумеешь!

Битюг хватал его за грудь, встряхивал.

— Стой! Да! В некотором царстве, в государстве!.. — поспешно выкрикивал Сепаратор.

И опять — нелепый бред.

— Записки сушасшедшего! — называет так сепараторовы сказки налетчик Рулевой, самый образованный в камере.

В конце концов Евдошка мнет или ломает Сепаратора — травит до синяков, до потери сил.

Мокрый, как из бани, порывисто дыша, сидит измученный идиот в уголку.

На время забыт. Отдыхает.

Только Николай Акимович не может забыть Сепаратора. Все время тот ему попадается на глаза.

И еще — Битюг.

Эти две фигуры заполнили все мысли его. Странно, дело свое даже отошло на задний план.

Непреодолимое желание не дает покоя. Желание это — заступиться за Сепаратора, даже больше — самого Евдошку избить, подвергнуть таким же мучениям: банки поставить, „Яблочко“ заставить петь.

Даже сердце начинает усиленно биться.

Лежит, закинув руки за голову, и смотрит на Битюга, развалисто бродящего взад и вперед по камере.

Вот садится Битюг к Микизелю и о чем-то говорит.

Николаю Акимовичу кажется, что он говорит о нем. „А вдруг он со мной начнет играть от „делать нечего“ — как говорит Микизель?“ — приходит в голову Николаю Акимовичу.

Пугается этой мысли.

И тотчас же со злобою думает: „Тогда я его убью“.

Эти мысли окончательно захватывают Николая Акимовича.

„Убить придется, так не справиться“.

Через минуту мысленно смеется над собою: „Чего я в самом деле? Мне какое дело и до него, и до того идиота?“

Но опять лезут непрошенные мысли.

„Боишься этого Битюга“.

Битюг начинает насвистывать что-то.

Свист беспокоит Николая Акимовича. Кажется отчего-то, что Битюг что-то задумал против него.

Ночь Николай Акимович плохо спал.

На утро Микизеля вызвали в суд.

Не вернулся. Рядом с Николаем Акимовичем, на опустевшем месте Микизеля, поместился Битюг.

IV

Теперь целыми днями Битюг на глазах Николая Акимовича.

По ночам чувствует его горячее сильное дыхание. Спит Евдошка беспокойно, то руку, то ногу забрасывает на Николая Акимовича.

Николай Акимович плохо спит ночи.

Однажды Битюг, гоняясь за Сепаратором, поймал и приволок того на свое место.

Сепаратор закричал Николаю Акимовичу:

— Чего он лезет? Товарищ! Заступись!

Николай Акимович сказал Евдошке:

— Перестаньте его мучить. Как вам не стыдно?

Евдошка отпустил Сепаратора, повернулся:

— А тебе чего надо?

Николай Акимович смотрел на него молча.

— Тебе чего?

Большое темное лицо, приплюснутый нос, животно-коричневые глаза.

Николай Акимович чувствовал — ни слова не в силах сказать.

И руки дрожали. И билось сердце.

— Брось, Битюг! — крикнул кто-то, — он тебя пришьет, как бабу свою.

Николай Акимович что-то хотел сказать, но Битюг размахнулся.

Тупая, горячая боль в скуле. Завертелось в глазах.

А в ушах — хохот, крики.

Николай Акимович поднялся с пола. Увидел опять близко знакомое, широкое лицо.

Сердце тоскливо сжалось.

Почувствовал — крепко сдавило что-то шею.

Крик опять:

— Битюг, не убей, смотри!

Николай Акимович рванулся, но шея была, как в тисках.

Давило на шею. Ноги подогнулись, стукнулся коленами об пол.

Видел у самого лица широкие мясистые ступни.

Рванулся, но шея — как в железе.

— Брось, Битюг! — слышал крикнул кто-то.

Давление на шею прекратилось.

Ни на кого не глядя, дошел Николай Акимович до нар, лег.

Долго лежал, не открывая глаз.

В тот же день, вызванный следователем, Николай Акимович вспомнил о случившемся. Почувствовал, не может вернуться назад в угрозыск.

„Если не свобода, так пусть тюрьма или расстрел — только не туда“, — назойливо в голове.

А следователь спрашивал:

— Так ничего нового и не скажете?

Николай Акимович вздрогнул.

И вдруг, сильно заволновавшись, сказал:

— Я убил жену.

Острые, на бледном лице следователя глаза минуту — не мигая.

Потом тихо:

— Как?

— Как? — насмешливо переспросил Николай Акимоивч. — В протоколе же видно — как. Ножом финским. У красноармейца на рынке купил нож.

И стал рассказывать подробно, как давно хотел убить жену. И когда накануне трагедии ругался с нею, то и тогда хотел убить.

Говорил и удивлялся, как складно выходит, но боялся — вдруг следователь не поверит.

Но тот писал. Спрашивал и писал.

V

Это было неожиданно и страшно. Вечером того же дня, как признался Николай Акимович в преступлении, которого не совершал, в камеру угрозыска, где еще пока находился Николай Акимович, пришел новый человек, какой-то Цибулин, налетчик или вор — неизвестно.

Николай Акимович не обратил на него внимания.

Но ночью, когда новый арестант играл в карты, Николай Акимович, плохо спавший, отправился смотреть игру.

Новичок, повидимому, проигрался. Играли уже долго.

Он горячился. Ругался матерно.

Игра была непонятная. И называлась непонятно: „Бура".

Николаю Акимовичу стало скучно смотреть. Повернулся чтобы итти спать, но Цыбулин окликнул его тихо:

— Товарищ! Посмотрите вещичку одну.

— Что такое? — обернулся к нему Николай Акимович.

Цибулин протягивал ему что-то.

— Вот этот чума не верит, что настоящий бриллиант! — кивнул он на своего партнера. — Вы, наверно, товарищ, понимаете! Скажите ему.

Николай Акимович смотрел на кольцо в руке Цыбулина и чувствовал, как холодно делается спине, и дрожат ноги.

Цыбулинское кольцо было кольцом убитой жены Николая Акимовича.

— Это настоящие бриллианты! — сказал слегка вздрогнувшим голосом Николай Акимович.

— Да вы возьмите в руки! — сказал Цыбулин. — Может, он не верит! Возьмите, посмотрите, как следует.

— Настоящие. Я знаю! — глухо сказал Николай Акимович.

Он отошел. Долго ходил по камере. В голове все мешалось: признание следователю, кольцо жены, Цыбулин.

Но как он может его уличить?

Кто может подтвердить? Женина сестра? — она кольца не видала, — он только за неделю до смерти жены подарил ей кольцо.

„Теперь все поздно“, — думал Николай Акимович.

И вдруг вспомнил о Битюге.

„Что-то надо“, — так и подумалось, — „что-то надо“.

Битюг громко храпел на нарах.

Николай Акимович нагнулся под нары — давно, еще с вечера видел там большой медный чайник.

Взял его.

— Куда понес? — крикнул кто-то сзади.

Николай Акимович не обернулся. Влез на нары с чайником в руках.

Видел, несмотря на тусклый свет угольной лампочки, лицо Евдошки.

Темное, широкое, с раздувающимися от дыхания ноздрями.

Поднялся на нарах, не спуская глаз с этого лица.

Сзади опять негромко крикнули:

— Куда чайник упер? Даешь сюда!

Николай Акимович поднял над головой тяжелый, почти полный воды огромный чайник и с силою опустил его на голову Евдошки.

— А-а-а! — глухо, страшно, сзади ли крикнули или Евдошка — не мог понять Николай Акимович.

Только видел, как черным чем-то залилось евдошкино лицо. И еще остро помнил: „Надо углом — ребром дна“.

Сзади крик:

— Братцы, убьет!

Быстро взмахнул руками.

Опять мелькнуло: „Ребром“.

Кто-то хватал сзади, за плечи, но руки были свободны.

Быстро и сильно взмахивал чайником.

Лилось теплое за рукава.

Потом больно ударило сзади, по затылку. Дернули за руки.

Загремело, покатилось что-то.

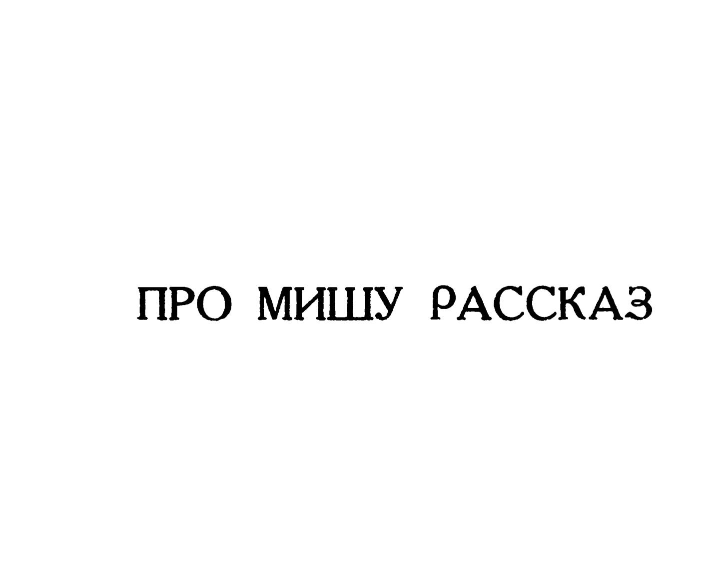
Не рвался из схвативших многих рук Николай Акимович.

Слышал кругом шум и крики.

Не мог ничего разобрать.

Потом затихло, когда внезапно расслышал один голос:

— Чайником, значит... Вот смотрите — череп своротил... Какой тут доктор...



ПРО МИШУ РАССКАЗ

Куртка кожаная. Клеш — ступней не видать.

Фуражка кожаная тоже, с надломом над козырьком.

На висках — темнорусые прихотливые колечки.

Зорко смотрят серые, беззастенчивые глаза.

Звать — Миша. Года — семнадцать.

С малолетства — сирота. Родственников, — никого.

У доброго человека жил. У сапожника Кузьмича.

Но надоело. Ушел.

Хорош был с ним Кузьмич. Не обижал. Работать не заставлял много.

В роде отца Кузьмич ему.

А вот надоело же. Ушел.

Тайком. Без копейки. И в непогодь. Дождь. Ливень прямо.

На улице и жить стал.

С мальчишками сошелся бездомовыми. Вместе — уличным промыслом: бутылки, тряпье, хлам разный собирали, дрова „пикалили", воровством не гнушались подчас. Всего бывало.

Так незаметно до 12 лет, шутя, играя на улице, прожил.

Шутка ли? Четыре года на улице, шутя.

Будто не года, а часы: четыре.

Революция...

Ах, веселое для Миши настало времячко!

Фараоны-то с чердаков:

— Та-та-та-та-та-та-та!

А внизу: волнами, морем в непогоду, жутко, радостно так:

— У-у-у! Ва-ва-ва! Ого-го-го-о-о!!

Веселое для Миши времячко!

Сроднился словно, уравнялся со всеми. И все точно с ним уравнялись. Поняли как бы, что не в домах-квартирах — жизнь настоящая, а на площадях, на проспектах этих, переулках, где с чердаков — пули фараонские.

Веселые мишины великие дни!

Тюрьмы громили. Освобождали...

Плакали кандальники, вечники, видел это Миша.

И Миша тюрьмы громил, сыскное. Суд жег окружный.

Двенадцати лет был.

Да, да, да,!..

Да и он ли один? Меньше его еще. Плашкеты прямо. Порты валятся, под носом мокро, и:

„Отречемся от старого ми-и-ира!“

Керенского свергли.

Зарвался, заимператорился.

Не по высоте — голова.

При Керенском тоже интересного много было.

Хвосты лавочные. Самосуды. Воров топили в Фонтанке, убивали на-раз.

Черный, после, автомобиль.

Летит, стерва, без огней летит.

Охотились милиционеры на него.

— Стой!

И из винтовок.

Поймали, говорят, автомобиль-то этот.

Грозный 18-й год. Великий.

Писатели о нем писали, поэты. И хорошо и плохо.

Миша рассказывает о нем хорошо. И как господа с „голода дохли“, и про налеты, расстрелы.

И про себя: как мешечничал, на крышах поездов — на Званку, в Оршу, в Торошино ездил.

Крепко рассказывает. Например: — Балда один встал на крыше. А поезд полным ходом. А тут мост железнодорожный. Трах — черепушкою об мост. Ваших — нет.

Ездил Миша много.

Сначала не мешечничества ради, а с машинистом познакомился. И поехал.

Все равно же, где быть.

В Питере, в другом ли каком месте.

В Америку — и то поехал бы, так, без всего, что на себе. Как тогда от Кузмича 8-летним — в дождь, в ливень.

Так бы и в Америку.

Белые как на Питер шли — добровольцем пошел в Красную армию.

Много Мише работы с революцией.

Все нужно узнать: и в газетах что, и на улицах. И на фронт вот пошел, чтобы в курсе быть дела.

Сенька, его товарищ:

— Страшно говорит, убьют еще...

А Миша:

— Ну, и пусть.

И еще:

— В прошлом году шкет один на восьмерку залез, на колбасу. Сорвался, и зарезало прицепным. Вот тебе и без фронта без всякого, а без головы.

Сенька поскреб за ухом, помянул „мать“ и на фронт.

В живот в первом, под Гатчиной, бою, осколок угадил.

Эвакуировался и умер Сенька, а Миша невредимым до р. Наровы дошел. Всю как есть кампанию.

— Чорт их знает! Снаряды у белых не рвутся, — разочарованно говорил.

Хотелось быть раненым. Надо же испытать.

У другого вон ран — пять. Ноги, живот шиты и перешиты, а его хоть бы царапнуло.

После, под Кронштадтом, — опять добровольно.

И опять уцелел.

Рядом убило красноармейца, а его только оглушил снаряд.

Суток двое в ушах перезвон, как у попов на Пасхе.

И в голове потешно так: пустая будто голова.

Миша любил...

Из-за любви он и спекулировать стал. Ведь из-за любви в разбой пойдешь, не только что.

Снабжать нужно было девочку Лидочку.

Не просила она.

И не из жиганства, не из хвастовства снабжал.

— Смотри, мол, какой я буржуй-спекулянт, ухарь-купец.

Другая была у Миши статья.

Видел: нуждается, голодает девочка, воблу, как севрюгу какую, уписывает; тянут с матерью унылый карточный хлеб — от выдачи до выдачи.

Кровь запеклась в мишином сердце...

И в поездах, при обмене товаров, торговался-жилил, как последний маклак; шапку, как говорится, о-земь бросал, как цыган на ярмарке.

Удивлял, сбивал с панталыку избалованных мешечниками крестьян.

— Ну, брат, видно, что спекулянт ты естественный! — крутили головами мужики.

— Этот, брат, далеко пойдет. Советский купец!

Гоготали. Но охотнее, чем кому другому, обменивали Мише.

Крестьянин деловитость любит.

Но не стало Лидочки.

Не умерла...

Просто — уехала, переехала — не знал Миша.

Из Красной армии пришел — не было ее уже, и след ее всякий пропал.

Хочет Миша любви, тоскует по ней и без нее, слаб, неуверен без любви.

Смелый всегда, сероглазый взор—беспокоен, растерян.

Ищет этот взор. Впивается и откатывается—не находит.

И потому, возможно, не работает Миша нигде, а почти позорной профессией занят — торговлей уличной.

Потому, что здесь, на улице, возможно, найдет потерянную, ту, любил которую, когда 15 было.

Здесь же на углу — товарищи компаньоны.

Так же, как Миша,—когда чем: папиросами, цветами— „нарцызами“, „настоящим французским шоколадом“.

У некоторых более солидная торговля: бумажный ранет, кандиль, „самые выдающие груши Вера и Александра“.

И всё — юнцы. И есть отроки даже.

Капли, отбрызнувшие от океанской волны, сохнущие на холоде камня, но еще горящие алмазами торжества.

Смелый, прямой когда-то, сероглазый взор—беспокоен, ищущ.

Пачками разных табактрестов, плитками „настоящего французского“ нащупать точно хочет весенний свой, потерянный, навсегда может, путь.

— Миша? Вот встреча...

И было тогда Мише — 17.

Не из жиганства, не из-за фасона: — Смотри, мол, вот как у нас. „Разграблю хоть сто городов“, как в песне „Любовь разбойника“ поется.

И не из преданной жалости, как раньше, когда 14 было, а просто: — Что же я с тобой голодать буду? Нарцызами будешь кормить?

Насмешливо: „ыз“.

И еще: посмотрела, губку выпятив на босые его ноги:

— Сапоги-то есть? Или... так?..

Сапог, действительно, не было.

Сандалии прошлогодние, не лезшие на разросшиеся за год ноги.

Много раз со стыдом рассматривал свои, крупные загорелые ступни.

— Будто хулиган с Обводки, босяк.

На сапоги сколотился, да что сапоги?

Ведь она с крупье живет!

Однажды в особенно мучительную минуту, когда любви захотелось, как воздуха, подумалось: „А если... в налет?“

Не из жиганства, не из преданной жалости и не из конкуренции с крупье, с денежным любовником прежней своей возлюбленной, а от любви, которой хочется, как воздуха.

Ведь из-за любви в разбой пойдешь, не только что.

Выработал план. Дело на примете было: спекулянтша Соловейчикова.

В кафе с налетчиками-спецами познакомился.

Впрочем, и раньше знал. Папиросы у него постоянно покупали.

Стаська Валевский и Котик Киля.

Через несколько дней, как задушена и ограблена была Соловейчикова (на двести червонцев дело одними наличными, не считая золотых вещей), Миша встретил Лидочку с мужем в ресторане.

Не стесняясь мужа, сам подошел.

И чего стесняться? Разве не он ее от голодной смерти когда-то спасал?

Да и вид у него теперь был приличный: не клеш, не кожанка, а костюмчик что надо, кепка английская и ботиночки новенькие — не хуже крупье лидочкиного приодет.

Лидочка улыбнулась:

— Каким ты франтом стал!

Мужу сказала:

— Это мой знакомый, Миша Архипов!

Крупье вежливо раскланялся.

А Миша сел за лидочкин столик и молчал.

И стало грустно, и неловко.

А в зале — шумно, пьяно. Плачут скрипки. Их сменяет певец. А потом веселый кто-то и разухабистый, с напудренным, как у проститутки, лицом, сипловато поет:

Червон - чики - чики
Голуб - чики - чики.

Ему хлопают, гогоча, пьяные.

И сами у столов подпевают:

Червон - чики - чики...

И крупье хлопает ладонями, широкими и белыми в перстнях на трех пальцах.

И лицо у крупье, как и руки, белое и широкое. И улыбается он только губами.

Лидочка пьяна.

Беспричинно беспрерывно смеется.

Лукаво смотрит на Мишу. Спрашивает:

— С чего ты разбогател?

И опять долго смеется и лукаво смотрит.

А Миша тихо, чтобы не слышал крупье, говорит:

— Налет сделал.

Лидочка не верит, смеется — громко, вздрагивают серьги в маленьких розовых ушах.

— Соловейчикову, что ли, убил?

Миша вздрагивает от неожиданного вопроса. Косится на крупье.

Но тот не слышит. Он — пьян. Встает, идет к эстраде и заказывает что-то таперу.

Пользуясь его отсутствием, Миша наклоняется к уху Лидочки и говорит торопливым шопотом:

— Соловейчикову — да!.. Из-за тебя, Лидка! Будешь жить со мной, Лидка?..

У нее скучное, пьяно-усталое лицо. Даже зевнула. Посмотрела на него, как когда-то при встрече с ним на улице, „нарцызами“ когда он торговал.

Миша чувствовал, как загорелись у него щеки и уши.

А Лидочка отвела глаза и лениво сказала:

— Глупости ты говоришь, Миша.

Подошел крупье. Уселся, не глядя на Мишу.

Мише стало почему-то неловко.

Отошел к сидящим в углу зала Стаське и Котику.

— Это что за баба? — спросил Стаська.

Миша ответил:

— Так, знакомая...

— С фраером?

— С мужем, — ответил Миша.

А музыка играла что-то тоскливое, тягучее.

Скрипач раскачивался во все стороны, низко нагибался, точно разглядывал что-то на полу.

Потом закидывал голову и смотрел в потолок молящими, скорбными глазами. И дрожали смычок и скрипка. И голова скрипача вздрагивала.

Миша сидел, угрюмо склонив пьяную голову на руку и думал о Лидочке.

Мучила мысль, что она не поверила ему.

„Ну, и пускай!“ — утешал Миша себя, но мысль настойчиво сверлила: „Не верит. Трепачом считает. Смеется и рассказывает своему крупье...“

А Лидочка действительно смеялась чему-то. И широколицый, белый крупье улыбался одними губами и, как показалось Мише, смотрел на него.

Миша почувствовал, как сильно забилось сердце.

Встал, слегка покачнувшись, чуть не уронил бокал со стола.

Киля огрызнулся:

— Тише ты! Окосел!

Миша прошел через зал.

В ушах тонко скулила скрипка.

В конце зала — будка с телефоном.

Долго вызывал справочное.

Потом говорил с управлением раймилиции.

— Пошлите наряд в ресторан „Лузитания“.

Недовольный глухой голос спрашивал:

— А кто говорит?

— А вам что? — отвечал Миша, — говорю: налетчики, которые Соловейчикову... Ну, да, трое, в углу, направо от музыки...

Скрипка играла веселое что-то.

Прыгали, кружились звуки, закручивались спиралью. Разрывались, опять закручивались.

Скрипач дрыгал головой, локтями, ноги не стояли — казалось, вот-вот пустится танцовать удалой свой танец.

Стаська рассказывал хохочущему Котьке похабный анекдот, рассказывал, не торопясь; смачно, по-польски цинично.

А Миша смотрел вдоль зала по направлению к выходу.

Там беспрерывно, блестя стеклами, открывались и закрывались двери.

Люди входили и выходили.

Миша зорко смотрел серыми своими, когда-то смелыми, теперь потерянными, глазами...

И опять, блеснув стеклами, отразив огни, распахнулась дверь и долго оставалась распахнутой.

Три фигуры, одна в шляпе и две в кепках, торопливо и четко, не так, как ходят посетители ресторанов, шли через длинный зал к эстраде.

А за ними, также гуськом, много еще: в красных фуражках, с блестящими пуговицами на черных шинелях.

И где они проходили—затихали говор и шум.

И когда подошли к эстраде, смолкла, не допев, скрипка...



БОЕЦКИЙ ПУТЬ

I

Васьки-Пловца, сапожника Соболева сына, родина — дом Городулина.

Дом этот известен всем: на канал Екатерининский и на Садовую — проходной. Слава о нем, как о „Васиной деревне“, что на острову.

Впрочем, были и еще знаменитые в Питере дома: Лавры Вяземская и Пироговская. Порт-Артур, Зурова и Сакулина дома на Фонтанке — мало ли!

Только в них ворье больше, а в лаврах даже сплошь; в Городулином же один вор всего — Ванька-Чухна, да и то, — какой он вор?

Звание воровское только пачкает.

Когда у городуленцев что пропадает, — всегда — к Чухне, и всегда находят.

В Городулином — все рабочие. Мастеровые с Франко-Русского (бывшего Берда), с Бекмана, из порта, с Балтийского, с островка Галерного, а также ремесленники: столяры, картузники, портные и сапожники, конечно.

Интеллигентов, как и воров — один всего — Иван Иваныч, адвокат.

Иван Иваныч — деляга, законник, опустившийся, правда, до-нельзя, пьет ежедневно, а временами сверх того — запоем; но все у него по статьям закона, даже рюмка водки.

По специальности и работает: за шкалик прошения пишет, за сороковку — любое судебное дело ведет, а если

вина, закуски, пива — вообще, угостить честь-честью — самое безнадежное дело выиграет.

Законник!

Зато к нему и с уважением все, даже „фараоны“.

На что племянник Софрона Карпыча Конягина, владельца „Белых Лебедей“, трактира „с крепкими“, Митька-Коняга, дерзкий на руку парень, а вот Ивана Иваныча за воротник никогда не брал. А ведь Коняга спуску — никому, особенно благородным пьяницам как элементу случайному в „Лебедях“ и навязчивому, нетерпимому для всякой компании. Все у них, у благородных этих, с точки зрения да с амбицией, а какая тут амбиция, да особенная точка, если до точки допился?

Коняга для интеллигенции — бич. Раз он даже попа, до положения риз допившегося, со всех шестнадцати („Лебеди“ во втором этаже) — спустил.

Тогда Софрон Карпыч, на что человек, что шар биллиардный — нечувствительный, и то не одобрил.

— Ты, — говорит, — Митька, это зря. Священное лицо — по шее. Конфузно, брат, это.

А Коняга:

— Мне все единственно, хучь кто, ежели в собачьем виде. Я и митрополиту Антонию откупорю со всем удовольствием.

Коняга, это верно, вышибал с удовольствием.

А вот Ивана Иваныча — ни-ни и даже с уважением. И сотку иной раз от Карпыча тайно ставил.

Васька Соболев кличку Пловец заслужил за плавание изумительное. Мальчишкой еще сопливым, порты подпоясывать не умел, а в Ворониных банях, в бассейне, или на Бабьей речке, на Гутуевском, куда городулинцы шатией за коксом ходили, а также на „Балтинке“, на четвертой от Питера версте, на водопаде — даже матросов удивлял: рыба, а не плашкет. Вода для него, что квар-

тира со всеми удобствами, спать, вероятно, мог в воде... не только что. Спиной становясь к воде — нырял. И ничего.

Городулинские рбеятишки каждый чем-нибудь выделялся: Васька, вот, плаванием, Мишка-Левый, братишка его — в драке бесподобен (бил с левши), Колька-Меднолобый — музыкантом роскошным стал впоследствии. На афишах его портреты печатали. Что шафер на афишах: во фраке, в „гаврилке“, прическа — „бабочкой“. Будто и не городулинский вовсе. Павлушка-Пестик — революционер, эксист, „максималист“ — по-газетному, у Фонарного, в шестом году, застрелился.

Городулинские все — с талантами.

На что Афонька дворников, Говядина по кличке, деревня: только и есть в нем — мясо да жир. И тот отличился: вора на чердаке изловил и единолично в участок доставил.

Здоров, толстомясый! Одного вора ему, пожалуй, мало.

Городулинская плашкетня — талантливая.

В игру всякую — мастера, в драке — не качают, языком — любому трепачу сорок очков. И правильные. Фальши — никакой.

Воровства или чего такого — ни-ни!

Народ крепкий телесно и духовно, да иначе и нельзя: жизнь по головке не гладит.

Хочешь-не хочешь — крепись.

Жизнь такая — ничего не попишешь!

Голод, холод, труд с малолетства. Большинство по отцовской линии: на завод, в мастерскую, на липку сапожную или на верстак портновский.

Васька жил не унывая, несмотря на то, что жизнь сложилась не казистая: отец — пьяница, бил его и брата Мишку смертным боем. Когда Ваське минуло двенадцать — братишка ушел от отца. Жил с Марусею-Цыган-

кой, черненькая девочка, глаза, что вишни в дождь. Славненькая!

Мать умерла давно, от побоев мужа, наверное. Отец на одном Ваське душу и отводил. Но потом заболел. Пьяный, в Покров, проспал на земле, схватил крупозное. Скрючило, хотя и вынес. Васька же к тому времени выравнялся: ростом чуть не с отца, а в плечах шире. Перестал отца бояться. А когда тот пьяный как-то стал фасон показывать — тарелки бить, — Васька за дворниковым Афонькою слетал. Вдвоем связали, бросили на кровать, а сами пошли играть в пристенок.

С тех пор отец притих. Иной раз зашабаршит по старой памяти, а Васька:

— Ложись, добром. А то Афоньку позову. Он те угомонит в два счета.

Васька смышленый, грамотный. Читать любил, но книг не было. Кое-что у мальчишек доставал: „Итальянского разбойника Картуша", „Пещеру Лейхтвейса", „Магдебургского палача", „Пинкертонов" разных.

Книги эти занятные, завлекательные. Особенно про разбойников которые. Сердце от них растет, и дух крепнет.

Хорошие книги!

Так, без школы, без учебников, наглядно учился, а без этого тоже можно учиться: глаза, уши — есть, вот и учись.

А школа — улица. Учитель — улица. За все она отвечает. Одна она — и мать, и наставник, и профессор.

Вольный и смелый, как городулинские, как питерские мальчишки, понял Васька, что жизнь заключается в том, чтобы человек права свои отстоять мог. А для этого надо быть сильным, бесстрашным. Иначе, всякий обидит, с дороги столкнет и будешь у людей в хвосте, в загоне. Бороться нужно. Но так как бороться одному часто не под силу, то нужна артель, шатия.

Везде так.

Вот у Покрова, в Коломне, покровская шатия. На Пряжке — пряжинская, затем — „петергофцы“, „семенцы“, „песковцы“. А самые знатные, первоначальные — „Зеленая Роща“ и „Гайда“.

Создал и Васька городулинскую партию. Надумал, предложил парнишкам. Те, понятно — с восторгом.

За атаманом дело. Ваське напрашиваться нельзя, должность атамана — выборная.

Ребятишки-то за Ваську:

— Пловец, ты атаман! Ладно, Пловец, а?

Но Филька столяров — злой, завистливый — запротестовал:

— Кто всех сильнее, тот и атаман.

Пришлось „сходиться“ трем кандидатам: Ваське, Фильке и Афоньке. Остальные — мелочь. С ними — нечего.

Говядина Фильке чуть ребро не высадил кулачищем. И Васька Фильке влил.

Потом с Афонькою у них — боевая. Васька по драке — академик, но Афонька — силен. Техникой Васька только и взял...

II

Стали городулинцы набеги делать. На „серебряковцев“ (соседний дом Серебрякова) и „карповцев“ (по другую сторону городулинского — Карпова дом).

Мальчишки в этих домах — плохие, из интеллигентской мелочи: чиновников, учителей разных дети.

Через неделю по всей улице городулинцы прославились. Через двор чужие мальчишки проходить перестали. А мимо ворот, по другой стороне улицы — стрелой.

Городулинцы до вечера во дворе, а попозже в Покровский сквер, на партию покровскую смотреть ходили.

А у покровских в то время атаманил Валька-Баянист, высшей марки музыкант, в Народном выступал и других театрах.

За гармонную игру жетоны имел. Парень Валька шикарный!

Поддевка темно синяя поверх рубахи голубой, широченные, на голенищах лакирошей приспущенные, шаровары, московка широкополая — птичкою на золотистых кудрях.

А хлещется!

Красота! Глаз не отвести! Очарование!

Ураганом на середину улицы, светлыми сверкая голенищами, в толпу пряжинцев, петергофцев ли врежется — ровно литовкой пройдет — сразу полукруг свободный перед ним. А там — один, другой — кувыркаются, с булыжниками мостовой христосуются.

Хлестал толково!

А поддевка полами парусит, кисти пояса вихрятся, только — нет-нет — московку приминает.

Верткий, Волчок. Не моргает. Раз — и в дамки! Человек такой!

И командует „своим" — четко, быстро, дельно:

— Бей, братцы! Не качай, мать вашу...

— Баламут, пятнай, сука! Огурец, крой слева! Э — эх!...

А неустойка если — встанет, как вкопанный. Пальцы в рот — свист властный и грозный; потом — быстро руки в карманы и выбрасывает их уже охваченными железом кастетов.

Тут уже парнишки отовсюду, что воронье. Тревога: „Пряжка напирает! Валька подмоги просит!"

Площадь застонет от топота ног, пыль метелью запляшет.

И несмолкаемое гудящее: „Понес!" — клич борьбы, геройства и обреченности — юности голос, сама юность — аккордно музыке битвы вторит.

И тревожно, и настойчиво, клич этот заслыша — фараонов свист — стальными по улице горошинами.

И только конные когда покажутся — четкая валькина команда: „Зекс! Хряй!“ — кладет конец битве.

Атаман отступает последним.

Валька погиб.

Страшной и памятной всем смертью.

Летом, в день воскресный, черносотенцы убили.

Каждое воскресение собрание у них, у черносотенцев, в квартире казачьего эсаула Дерзина.

Гульба, пляска, пение „Боже царя“ — в рабочем-то квартале после пятого года!

Много сердец горело, много точилось зубов.

И Валька — не вынес.

Сердце у него открытое было, без остатка все целиком принимало.

Без рассуждений, без обходов — все!

Какие же рассуждения, когда сердце, вот, как ворота в жизни, как взор солнечный — какие обходы?

Как услыхал вызывающее, из окон дерзинских несущееся: „на страх врагам“ — не выдержал.

За вызов принял черносотенное царского гимна пение Валька — рабочий Бердовского, Франко-Русского завода тож.

Вызов. А раз — вызов, надо принять.

Правда, хмелен был, но не в хмелю дело, а в сердце.

Сердце — ворота в жизнь. Солнечное сердце.

Решил: „Набегом. Волынку затеять. Пришить, кого ни попало“...

А слово — дело.

Нужно бы артелью, скопом, но парней — никого; своих, покровских — никого.

„Эх, была не была!“ — птичку-московку примял, вихрем — по парадной, поддевкою паруся, блестя лакирошами — в эсаулову, в дерзинскую квартиру и, прежде чем застрелили — четверых пером перепятнал...

Один из раненых умер скоро, троих в — Обуховскую. Но и Валька погиб.

Под глазом — вошла, из затылка вышла пуля.

Одной убили, а выстрелов пять-шесть дали. С испуга, от неожиданности, в комнате, в упор — мазали, промахивались...

Вальку хоронили трогательно и шикарно.

Гроб на руках всю дорогу, а за гробом — шестеро баянистов, — похоронные марши и Вальки покойничка песни любимые: „Ах, зачем эта ночь!“ и „Молдаванский вальс“.

Шестеро баянистов и седьмой — плясун, Гаврик Златоцветов — за гробом.

Парни на подбор — что надо!

Шурка-Заграничный — жетоны у него, как и у Вальки, за игру гармонную.

Мишка-Пищик — человек, знающий гармонь лучше, чем любой поп „Отче наш“. Сам мог гармонь сделать, если ему подходящий инструмент и материал дать.

Петька-Японец — „Коробушку“, „Выйду ль я на реченьку“ играл так, что за оперу принять можно. А „Барыню“ петькину даже городовые играть ему на улице не запрещали.

Втулка-Серега — шестнадцать часов, на спор, на свадьбе у вора — домушника Кольки-Ёршика — гармонь из рук не выпускал. Выпьет. Закусит. Играет. Кругом — шестнадцать.

Мишка-Утопленник — из-за гармони чуть не утонул. На Лахте. Лодку в драке опрокинули. Мишка сапоги сбросил, а гармонь не отпускает.

Тонет, а гармонь в руках.

Спирька-Омский из Питера до Омска и обратно пешком прошел, по городам и деревням на гармозе играя!

Пьяный играл как никто. А в дым когда пьян, спит когда на гармозе—еще лучше. Сердцем играл, кровью.

Плясун Гаврик Златоцветов—красавец поискать!

И плясун редкий.

Девочка из-за него отравилась. Катя, лафермовская.

Знаменитые похороны Вальки.

Гроб весь в венках, бердовцы на похороны сбор сделали. Гроб и венки—что надо.

А маркер Долголев из „России“-трактира, приятель валькин задушевный, накануне похорон купчика обыграл на полтыщи, и все деньги—валькиной матке.

Сороковку из выигрышных только взял, а остальные все старухе—полтыщи без двадцати копеек.

Маркер, а сердце поимел—это понимать надо!

Знаменитые Вальки-Баяниста похороны. Шестеро баянистов—в поддевках выходных, в черных и синих, в рубахах шелковых и лаковых сапогах.

Заграничный—при жетонах.

А плясун красавец Златоцветов, в бархатной безрукавке поверх малиновой рубахи, с крепом на малиновом рукаве,

Не мог в другом костюме быть: как под игру валькину в театрах выступал, так и за гробом шел.

При всей форме, значит.

Правильно это. Так надо.

Семеро за гробом: шестеро баянистов и плясун.

А сзади—футляры гармонные и московки игрунов девочки несли.

У каждого своя. Только Гаврика-красавца сестра-красавица Тася братнину шапку плясунскую, ямщицкую, с павлиньими перьями шапку—сестра несла.

После трагической катиной смерти, Гаврик девочек не заводил. Не имел.

Нежно плачут, тоскуют, вздыхают голоса шести баянов.

Печально прекрасное отпевание — печальный „Молдаванский вальс“.

И в такт задушевным молдаванского вальса звукам, стелящимся, как пышные ковры, словно по ним ласковым, мягким звукам—коврам, ступая, шел за гробом товарища Гаврик, не похожий на всех, тут же идущих, непохожий ничем: ни походкой почти воздушной, плясунской и костюмом ямщицким, в каком по городу не ходят, и лицом не городским: кровь с молоком, губы—цветик ал, глаза—звезды в лучах ресниц стрельчатых, волосы—льна чуть темнее, шелковые волосы в кружок.

И даже тем непохожий, что при ходьбе не махал, как все, руками, а откинув атласом голубым подшитые полы безрукавки, заложил за серебряный поясок позументный белые руки свои, как у девушки, нежные. На тут же идущих всем этим непохожий от всего и всех — отменный—Гаврик, редкий красавец, словно пришедший из древней, в веках затерявшейся сказки древне-русский молодец — краса.

И символом сказочной этой красивости — траурная на малиновом рукаве повязка...

Нежно плачут, тоскуют, вздыхают голоса шести баянов.

Ткутся шелком пестрым мягкие ковры, расшиваются золотом радости, серебром печали, устилают ковры всецветные атамана печальный путь.

Звуки, звуки—нити золотые серебряные, всецветные нити. Сплетаются венками, падают венками, в скате раскатываются расписного ковра. И по ласково-бархат-

но-звучащему пути верный погибшему другу-атаману древне-сказочный друг идет.

И много-много сзади молодых, все молодых. Весною, молодостью, солнцем венчанных, жизнью возлюбленных молодцов и молодиц.

И чудится — жребий скорбный молодого атамана не мрачен вовсе, не печален, не страшен.

Жребий — смерть его, полного сил удалецких.

Жребий — смерть его — не врата ли внезапно распахнувшиеся широко в расписными коврами устланный путь ворота?

Как и сердце его при жизни — солнечный взор — отверстые врата.

Много сзади парней и девушек. Много бердовцев, провожающих не покровского атамана, а бердовца — товарища своего, умершего смертью не последней.

И вели под руки не отнимавшую от глаз платка Веру, валькину любу — девочку от Жорж-Бормана, с шоколадной.

Нежно плачут, тоскуют, вздыхают голоса шести баянов.

То взмывают заревым весельем, то ночной припадают печалью, то крылами рыдания бьются, то в тоске замирают, стынут, молдаванскего вальса звуки.

А по краям пути расписного, в такт раскатам ковров всецветных, мерно качаясь в седлах, маячат черные конники — злые стражи.

И зорко смотрят, чтобы не слишком широко расстилались ковры; ковры, легшие на манящие пути заветные, пути, влекущие в дали дальние, где жар-птицы солнечными реют крылами, где в камнях самоцветных — радост-

ные дворцы, где все красоты и силы - сильные, солнце где, злую ночь пугающее солнце — по краям пути — черные конники — злые стражи мерно покачивались в седлах.

И хмуры, и затаенно-тревожны, и злы затаенно — черные конники — злые стражи. Смолкает. Замирает. Смолк. Замер... „Молдаванский вальс“.

III

Городулинским простора мало. Драться не с кем. Мелкоту интеллигентскую из соседних дворов бить — скучно.

Развлекались французской борьбой. В моду входила тогда.

На песке, на Екатериновке, против ворот городулинских летом — всегда горами песок — на песке — борьба.

Филька целыми днями — под Говядиной. Иной раз и бороться не хочет, а Афонька его, знай, заламывает. На удивление мальчишкам и на потеху себе, по пятнадцати и больше раз укладывает на лопатки под ряд.

Злой Филька ругается, плачет, зеленеет от злости и усталости, а Афонька, красный, что свекла, ржет жеребенком и такими макаронами кормит Фильку, что у бедняги шея трещит.

Потом перед ребятами резонится.

— Я его легонько борю, а если б заправду — задавил бы. Чижолый я. Мы, деревенские, на борьбу здоровые.

Мальчишки не спорят. Деревенские, — известно, всегда городского сомнут, а Афонька такой, вполне Фильку может задавить.

Вот он, как в борьбе навалится на Фильку, того совсем и не видно, только ножки дрыгают по песку.

Ваське скучно без дела — волыниться не с кем. Борьба надоела. Да и опасался столкновения с Говядиной — на борьбу Говядина — первый.

Надумал, наконец, к покровским поступить, но городулинцам заслабило.

— Куды нам? Там — большие. Нас и не примут.

Зиму много работы было у сапожника Соболева, и пил он почему-то мало — раз только Васька с Афонькою его связывали.

Всю зиму пришлось Ваське отцу помогать, но мысль о присоединении к „покрошам" покоя не давала. Часто во сне дрался с пряжинцами или петергофцами.

К следующему лету решил окончательно.

Предложил и Афоньке, но тот отказался.

Ленивый да и трусоват, даром, что бык такой.

К Покрову пошел Пловец в праздник, после обедни.

„Атамана увижу и попрошусь в партию", — думал радостно и тревожно.

Атаманил после Вальки Гришка-Христос, еврей, сын торговца из Александровского. Лет 20-ти слишком. Бородка небольшая, раздвоенная и длинные волосы делали его похожим на Христа. Только глаза близорукие, насмешливые.

На вид невзрачный, Гришка, между тем, обладал большой силою.

Конкурента в драке не имел...

Когда Васька пришел к Покрову, вдоль церковной ограды сидело несколько парней с Христом в центре.

Смелый мальчуган, победив минутное смущение, подошел к сидящим и подал Гришке руку:

— Здорово, атаман!

Гришка прищурился, засмеялся громко, сверкнув большими лошадиными зубами.

— Здорово, эсаул, здорово!

Парни засмеялись. Васька слегка обиделся.

— Я не эсаул, а атаман... городулинский.

Хохот усилился.

Васька продолжал, не смущаясь:

— Я хочу к вам в партию.

— А батька с маткою не выдерут? — насмешливо улыбнулся Христос.

— Матки у меня нет, а батьки я не боюсь, — спокойно ответил мальчишка.

— Молодец, — сказал Гришка серьезно, — крой его, старого чорта, и в хвост, и в гриву.

Обернулся к товарищам:

— Я пьяный и волынюсь же с батькою, ай-я-яй!

Приложил руку к щеке и покачал головою.

— Третьего дня буфер ему подставил.

Парни прыснули. Гришка обернулся к Ваське.

— Ты, плашкет, вот что... Деньги у тебя есть?

— Есть.

Васька радостно извлек два гривенника. Копил эти деньги. Готовясь вступить в партию, знал, что потребуется подмазка.

Гришка повертел в руках гривенники.

— Разве это деньги? Это — злыдня. Я думал, ты выпить поднесешь.

— Можно сороковку взять, — сказал Васька.

— Сороковку на такую шатию? — кивнул Гришка на товарищей, — слетай за папиросами. „Бижу" возьми!

Васька мигом сбегал. Закурив, стали расспрашивать, кто он, кто его родные.

— Мишка-Левый твой братишка? — спросил один белокурый в веснушках.

— Да.

— Какой это Левый? — прищурился Христос.

— А это, бекманский, с Манькой-Цыганкою живет. В „семенцах" он сейчас.

— Знаю, — кивнул Гришка, — хлещется Левый дельно. Знаю. В „Коломне", в биллиардной, помню, с гужбанами. Пьяный Левый — в доску. Гужбаны прут на него, а он: „Тебе что, а?" Раз, с левши — с катушек гужбан. Он —

другому: „Тебе что, а?“ Раз, опять с левши — с катушек. Четверых, кажется, под ряд. А коблы варюжки разинули— ждут очереди. Смех!.. Молодец, Левый, ей-ей!

— Неужели четверых всех? — спросил парень круглолицый, полный, голубоглазый. — Что же гужбаны газеты читали?..

— Не газеты, а ждали очереди, — спокойно ответил Христос, — когда я коблов бью — они тоже дожидаются.

— До-ля-фа! — раздался чей-то тонкий голос, потом— пение: „Ты не ври, не ври, добрый молодец...“

— Брось, Козел, — оборвал поющего Христос, — ты лучше выпить достань. Ведь получку вчера получил?

— Получил.

— Почему не пропил?

— Батька, сволочь, все забрал до копейки.

— Батька? Эх, ты! Вот, смотри: плашкет и то батьки не боится, а ты... А еще парнишка покровский...

Он защипал бородку и, прищурясь, посмотрел на кончик лакированного сапога.

Потом быстро — к парню:

— Лети к батьке! Затей с ним бузу! Вырви из глотки на две бутылки! Слышишь?

Развел руками:

— Чорт знает, что! Парень с получки сотки не выпил, а батька теперь хлещет за него.

Парень нерешительно почесал за ухом:

— Попробовать, что ли?

— Бери за горло прямо, стервеца! Понял? „Гони, старый хрен, монеты! Какого ты, мол, кляпа...“ А зашабаршит — в морду его, сволочь такую.

Гришка, волнуясь, поднялся:

— Вот не люблю старых чертей! Батьку своего я когда-нибудь пришью, чтоб я был подлец.

— Не заливай, Гришка, Фонтанка еще не горит! — засмеялся круглолицый, голубоглазый.

— Будь я проклят, если не пришью, — сказал Гришка убежденно, — ведь это такая стерва! За копейку — удавится, за пятак — штаны спустит...

Замолчал и, тихо посвистывая, прищурясь, смотрел на голубоглазого.

— Ты чего, Гришка, смотришь? — усмехнулся тот.

— Хорошенький ты, Павлик, будто шмарочка. Люблю я тебя, честное слово!

— Тьфу, чорт, а еще Христос! — плюнул, смеясь, Павлик.

Гришка не спускал с него насмешливо-ласковых глаз, а в них в упор глядели бесстыдно-ясные, веселые павликовы глаза, красивые и глуповатые немного, как глаза кукол, и немигающие веки узором длинных ресниц бросали легкую тень на нежно-розовые, как персики, щеки, изредка слегка вздрагивающие от затаенного смеха.

Гришка отвел глаза и вздохнул:

— Стыда в тебе, Павлушка, ни на копейку.

— А на кой он нужен? Пропадешь с ним.

Гришка отвел глаза и опять вздохнул.

— Случается — без него пропадают. И часто.

В это время подошел новый парень, торопливо засовал руку.

— Пряжка катит.

— Врешь? — вскочил Христос.

— Чего врешь? Скоро будут.

— Много?

— Хватит.

— Ты, плашкетик, — обернулся Гришка к Ваське, — хряй сейчас на Канонерскую, шесть. Окно с сапогом внизу увидишь — скажешь прямо в окно: „Пряжка идет, Христос у Покрова“. Лети!

Ветром долетел Васька, бормоча всю дорогу условленные слова, и, добежав до окна с сапогом, выпалил всю фразу в лицо сидящему у окна парню в лиловой рубахе.

Парень высунулся:

— Христос послал?

— Да.

Дал Ваське нож, финку.

— Передай Гришке, скажи: „перо морёное“. Стой! Еще скажешь: „Придут: Волк, Пепелов и Сахарный Женя с перьями“. А еще: „Пряженский Фарватер хочет его, Христа, значит, запятнать“.

Когда Васька прибежал к церкви, там уже шли сигнальные пересвистывания.

Радостно и жутко забилось васькино сердечко от этих свистков.

Кучка „покрошей“, с Христом во главе, стояла в неподвижном возбуждении, а на другой стороне площади цепью растянулись пряжинские, подвигавшиеся неторопливо.

Только впереди цепи быстро, точно катясь, шли плашкеты — „задевалы“, часто останавливаясь, и, засунув в рот пальцы, пронзительно свистели.

Васька вручил атаману нож и передал все, что велел парень с Канонерской.

Гришка хлопнул его по плечу, сказав:

— Молодчик!

Обратился к Павлику:

— Фарватер-Федька хочет меня запятнать, сука!

Потом быстро спросил:

— Самсончик здесь?

— Здесь! — полоснул голосок, и выскочил из кучки парней мальчуган, лет четырнадцати, плотный и загорелый, в тельной полосатой рубашке, босой, чернокудрый и черноглазый, как цыганенок.

— Самсончик и ты, как тебя? — кивнул Гришка Ваське.

— Пловец! — гордо вспыхнул тот.

— И Пловец, примите пряжинских плашкетов. Сколько их? — деловито осведомился он у Павлика.

— Трое.

— Сыпь, хлопцы!

Самсончик примял кепку и пошел, не торопясь. Шел, раскачиваясь, припадая на ноги, подражая походке заправских бойцов.

Васька догнал. Захлебнулся:

— Примем?

— При-мем, — спокойно протянул Самсончик и вдруг скомандовал: — Стой!

Остановились.

Шагах в двадцати — пряжинские задевалы: двое босоногих, как и покровские, один даже без шапки, и третий — в лакировках, пиджаке и московке, как большой.

Скидывая с плеч пиджак, оставшись в одной розовой с синим поясом рубахе — нарядный мальчуган закричал нестерпимо звонким, как разбиваемые вдребезги стекла, голосом:

— Пок-ро-о-в! Выхо-ди-и-и! Пряж-ка приш-ла-а-а-а!

Билось в ушах от невыносимого крика, даже обругался Васька, а Самсончик — так же, как розовый — стеклом дребезжа:

— Поне-ес! Пряж-ка! По-не-е-с!

Выбежал, выставив полусогнутую левую руку и на отлете — правую.

Ждал.

Розовый, бросив на мостовую пиджак и фуражку, кинулся на Самсончика, наклонив в светлых бараньих кудряшках голову.

Схлестнулись. Отскочили.

Словно два волчка, полосатый и розовый, завертелись: один — на бронзо-золотистых, другой — на черно-блещущих ногах.

В коротком взмахе стремительно взлетали руки, хлопали, отбивали одна другую, выстрелами влеплялись в полосатое и розовое тела.

Пловец, шагу не могущий сделать, дрожащий от неописуемого радостного волнения, забравший в рот ворот рубахи, смотрел на еще невиданное по красоте единоборство.

Сжимались непроизвольно кулаки, топтались нетерпеливо ноги, до боли напрягаясь в икрах, и теребился, как удила, скрипящий на зубах ворот рубахи.

А когда розовый клубок отлетел, в розовую развернувшись полосу, всклубивши пыль мостовой, а полосатый Самсончик выжидая, с рукой на отлете, с грудью, крутой поднявшейся ступенью, — крепко стоял, будто врос в площадь стройными смуглыми ногами — Пловец, вскрикнув торжествующее: „Понес"! — бросился на двух пряжинских плашкетов так же, как он минуту назад, нетерпеливо топтавшихся. Увидел на мгновение спокойные, детские на чистом лице глаза и другие — острые, на рябом широконосом лице; потом ощутил тупую боль под горлом, пропали четыре глаза и два лица, а ноги сами скользнули вперед; боль в спине и затылке.

„Сшибли, черти!" — быстро подумалось, а в ушах хлестнуло:

— Пловец! Не качай!

Вскочил. Подбегали: Самсончик и нарядный кудряш.

И снова десять рук проворных и метких замелькали; десять ног упругих и быстрых заклубили пыль площадную.

Но сзади и впереди, почти одновременно, свистки. И почти одновременно зазвенели нестерпимо-резко розовый и Самсончик.

— Конча-а-ай!

— Пловец, хряй сюда! — отбегая в сторону, крикнул Самсончик.

— Куда? — догнал его Васька.

— Сейчас начнут...

Самсончик дышал порывисто, сплевывал закипавшую в уголках ярких губ белую слюну, вздрагивали ноздри и огоньки в цыганских глазах.

По площади, быстро-быстро — две цепи — одна навстречу другой.

Впереди покрошей — Христос-Гришка, невзрачный, сутулый, близоруко-вглядывающийся, качающийся при ходьбе как и все, а во главе „Пряжки“ — высокий, с шапкою золотистых кудрей, парень.

— Ихний атаман, Шурка-Казак, братишка Баранчика того, с которым я сейчас хлестался, понял? — скороговоркою, горячо задышал Самсончик и тут же, в нескольких словах, рассказал, как Гришка Казаку нос сломал.

— Один раз Гришка Казаку по сопатке ка-ак даст! Нос — хрясть и посичас на боку.

И добавил веско, будто точку ставя:

— Мо-лодчик!

Первыми схлестнулись атаманы.

Звонкие, по всей площади, удары.

Отскочили. Переменились местами, как петухи. Разошлись, покачивая раздвинутыми руками.

„Будто плывут“, — подумал Пловец.

Казак упал.

— Ловко! — радостно крикнул, обжигая Ваське ухо, Самсончик. — Ай да Христос! — Видел, Пловец, а?

— Мо-лодчик, Гришка, — добавил, точку поставил.

Потом — глухой гул, свист; обе партии, сблизившись, стенку образовав каждая, двинулись.

Сошлись. Перемешались. Замелькали руки. Гулко зазвучали удары. И вместе с ударами — свистящими хлыстами по воздуху — бранные слова. С каждым мгновением бойцы оживлялись.

Руки — бесчисленные мельничные крылья.

Брань — все резче, но короче ударяла по воздуху.

Падали. Вскакивали. Падали.

Туманом — пыль над площадью.

Васька дрожал, топтался, перебегал с места на место, подпрыгивал, как от уколов.

И теребил зубами ворот, уже порванный и измокший от слюны.

Самсончик томился тоже: огнем горели смуглые щеки, свечками — глаза. На жарких губах высыхала пена.

Приседал к земле, вцепляясь темными крепкими пальцами в булыжины.

Как раскаленное железо рукою часто порывисто хватал Ваську и обжигал:

— Гришка-то! Гришка! Толково бьет! А-а!

Васька, академик по драке, оценивал „работу“ атамана добросовестно; угадывал каждое движение, предусматривал результаты. Одобрял меткие удары и досадовал за промахи.

А Гришка, вошедший в раж, разлохматив волосы, в щелки сощурив близорукие глаза и оскалив крупные лошадиные зубы, — бил метко, привычно, и каждый почти раз от стремительного удара его костлявого кулака полосой или пятном ложился знак на лицах, неосторожно под него подвернувшихся.

Вдруг двое налетели на Гришку.

И тотчас же один отскочил, а другой как-то странно сел на землю и медленно согнулся в боку.

Кто-то что-то крикнул. Сразу прекратилось побоище.

Опять крик:

— Запятнал!

А над ухом Васьки обжигало:

— Гришка... Фарватера Федьку... перо-ом.

Васька вздрогнул от этого шопота и взглянул на товарища.

Ослепительно горели черные глаза, раздувались ноздри, а в углах губ, лоснящихся алостью, белая вскипала слюна...

Фарватера вынесли на руках из круга.

Трель фараонова свистка близко где-то, настойчиво и беспокойно сверлила воздух.

IV

Гришка-Христос, покровский атаман, убивший пряжинского бойца Фарватера „морёным“, т. е. отравленным, ножом, был парень, что надо.

Своих товарищей любил, как Христос учеников.

Часто говорил, правда, полу-шутя:

— Стервецы, ведь я вас, как Христос, люблю. Христос я для вас или нет, суки вы паршивые?

Даже, как у Иисуса Иоанн был любимейшим, так у Гришки Павлик, поварок из греческой кухмистерской с Садовой.

Гришка любил Павлика за молодость и необычайную смелость.

Павлик, действительно, был смел.

Прямо, не умел бояться. Не понимал боязни.

Гришка о нем говорил так (философствовать, как и Христос, он любил):

— Есть люди всякие, каких чудаков бабы не родят. Я, вот, музыки не понимаю. Один чорт для меня, что пианино, что трензель или барабан. Шум и больше ничего. А скрипку терпеть не могу. Пищит, скулит, точно нищего через Урал тянет. А вот Павлик страха не понимает. Как вот я — музыку. Верно, Павлик, не понимаешь?

Павлик смеется весело, по-детски. И по-детски смотрит глуповатыми, красивыми, как у куклы, глазами:

— Как не понимаю? Что я — чума, что ли? Я знаю — страшно. А только не знаю, как это страшно-то бывает.

— Погоди, — перебивает Гришка, — идешь ты, скажем, с Лизкой со своей на Митрофаниевском кладбище.

— Никогда мы с ней там не гуляем. Скучно, да и воняет.

— Дурак! Это мы предположим. Понял?

— Ну, ладно, понял.

— Ни кляпа ты не понял... Значит, идешь. Теперь, вдруг, из могилы — мертвец. Паршивый такой, почти сгнил.

— Стой! Как же он может...

— Э! Не перебивай... Это так, в роде сказки. Ну вылез, это... „Ты чего, мол, шкет со шкицею треплешься, мне, мертвецу спать не даешь“? Понял? Это мертвец тебя спрашивает...

Павлик смотрит на Гришку непонимающими глазами и начинает вполголоса:

— До-ля-фа!.. „Ты не ври...“

Гришка безнадежно машет рукой.

Парни смеются...

Павлик не понимает страха, а потому обнаруживание у людей страха, боязни интересует и забавляет его. Особенно, если люди боятся пустяков: крыс, пауков, тараканов, щекотки.

Павлик, так же как и ничего, не боится и щекотки, и люди, боящиеся ее, для него необыкновенно смешны и забавны, даже необычайны, как какие-нибудь редкие существа.

Это заставляет его чуть не ежедневно щекотать одного из покрошей, Кольку-Бульонного.

Бульонный — из „чистых“, сын вдовы-чиновницы, самый слабый из парней.

Даже малолетний Самсончик с ним справляется.

По будням, в послеобеденные часы, прямо из кухмистерской или после разноса обедов на квартиры, с пустыми судками, Павлик наведывается к Покрову.

Завидя его, покроши, смеясь, Кольке:

— Сейчас тебе, Бульонный, жара будет.

А Павлик, белым костюмом и колпаком, сытыми щеками и улыбкою мелкозубого рта напоминающий веселого здоровяка-поваренка с жорж-борманских реклам, садится рядом с Колькою, вздрагивающим от одного взгляда своего вечного мучителя, и говорит, подмигивая парням:

— Бульонный, поди, по мне стосковался?

— Брось трепаться, Павлушка! — сразу пугался парень.

— Зачем трепаться? На гармозе сыграю, только и всего.

Павлик, не торопясь, засучивал на полных розовых руках рукава, скидывал с жарких ног башмаки.

Затем, так же неторопясь, валил слабосильного Кольку, садился верхом.

Точно нехотя проводил пальцами по вздрагивающим колькиным бокам.

Тот отчаянно взвизгивал, начинал биться, силясь сбросить с себя тяжелого, полнотелого Павлика.

— Мало, брат, каши ел, матка, поди, бульоном кормила, — смеялся веселый палач.

Ловил колькины руки, раскидывал их в стороны, прижимал в сгибах толстыми пятками и начинал работать вовсю: бистро мелькали пальцы, забегали под мышки, останавливались.

Внезапно схватывали колькины бока.

Бешенство, ругань, смех, плач — от прикосновения пальцев.

Как гармонист — чего только пальцами не выделывает!

Весело — неудержимо Павлику.

Колька — гармонь значит?

Изумленными, счастливыми глазами смотрит в искаженное непонятным ужасом и мучениями лицо, вскрикивает, не понимающий страха, Павлик:

— Чего боишься? Вот чудак. Братцы, ведь я легонько, пальчиками только. Вот святая икона!.. Глядите! Во... А он!

— Гармонь, ей-богу, баян.

Захлебывается от восторга. Раскраснелся весь. Даже полная обнаженная шея порозовела.

А Колька воет, визжит, умоляет:

— Пав... Пав... Ай! Ппп... Павлик! Ай! У-у-у! Ми... лень... не... на... на...

Весело, безумно весело Павлику на страхе человеческом, как на гармони играть. Не выпускает из рук жертвы. Уже не сопротивляется обессилевший Колька, уже не сидит на нем Павлик, а, крепко зажав коленями колькины ноги, держит его перед собою, как гармонь. И беспощадно-весело и глазами кукольными, красивыми глуповатыми и полнокровными персиками-щеками — смеется в измученное, потное, страхом и страданием искаженное лицо.

Не выпускает жертвы — гармони своей.

Все, что захочет, может сыграть.

— Вам что? Полечку? Краковяк?

Восторженными, счастливыми обводит всех глазами.

Но Гришка-Христос вдруг — грозно, зубы оскалив:

— Брось!

С Колькою — истерика. Ослаб. Мутные глаза — мимо Павлика.

Грубо отталкивает Павлика Христос:

— Чорт толстомордый! До-смерти ведь можно... Чума!

Опустившись на землю, к ограде прижался Колька.

А Павлик недоумевающе смотрит на него, зевает, потягиваясь:

— Настоящий ты, Колька,—бульонный. Поиграли с ним, а он и нюни распустил.

— Поиграли,—всхлипывает Колька,—ты знаешь, защекотать можно насмерть. Это, брат, не игра.

— Почему же я не боюсь? Вот щекоти, на, где хочешь.

Павлик поднимает руку, подставляя бок, ногу сует Кольке на колени:

— На!

— Уйди ты со своими лапами, — сердито отталкивает павликову ногу Колька,—и так руки онемели от твоих пяток, толстущий чорт.

Павлик ложится головой на гришкины колени:

— Пятки, брат, у меня настоящие. Мясные. В роде как биточки.

Павлик опять зевает, закидывает за голову руки. Потягивается. Белорозовый, красивый. Спокойный, как счастье.

Вверх глядит, на широкие листья кленов.

— Гришка, разве от щекотки умирают?

— Умирают.

— От щекотки или от страха?

— От разрыва сердца.

Молчит, чешет глаза кулаками.

— А!.. разве...

Спит почти.

— Раз... ве... под мышками... сердце?

— У кого где, — смеется Гришка, — у другого совсем нет. У тебя, вот, например. Слышишь, Павлушка?

Но Павлик не слышит. Сладко спит. Слюна струйкою из румяного, полуоткрытого рта. Жемчужинами — зубы в алой оправе губ.

— Заснул, — говорит Гришка шопотом.

Долго смотрит, прищурясь. Потом — задумчиво:

— Красив, сволочь. Полюбуйтесь-ка, братцы.

Парни осторожно заглядывают.

— Что? А? — обводит Гришка близоруко.

— Будто шмара, — прыскает Баламут.

— Шикарный паренек, — говорит тихо Козел.

— Только толстый зачем. Во, окорока-то, — гладит Женя-Сахарный полные, обтянутые белыми брюками, ляжки Павлика:

— А здесь!..

Он щупает ступни, толстые в подъемах и пятках, коротконалые, без следа костей.

— Ишь, леший, что у копорки какой, у толстопятой, ноги-то. Отъелся у грека-то своего. Грек его любит.

— К окорокам-то евонным грек, поди, подъезжает,— смеется Баламут,—любят греки да армяшки толстых мальчишек.

— Тише вы!—машет на них Гришка,—дайте парнишке покимарить. Он с Лизкой вчерась всю ночь проканителился.

— Он с ей второй год канителится, а ничего промеж их нету,—говорит Козел.

— А ты их проверял?

— Моя Стешка сказывала. Лизка с ей—начистоту. „Сколь,—говорит,—разов в Варшавской гостинице ночевали и хоть бы поцеловал когда, не только что“. Лизка говорит: „Я,—говорит,—что на угольях, а он—харю к стене. Спать,—говорит,—мешаешь“.

— Молодец! Не курит, не пьет и баб не целует,— смеется Гришка,—спать мешаешь, Козел? А? Как?

— Спать мешаешь,—усмехается Козел.— Лизка утром—на работу, а он еще дрефить остается, в гостинице.

— Будите Павлушку! Опоздает к греку-то,—говорит Женя.

Павлика долго расталкивают. Наконец, поднимается. Красный, как мак. Кулаками—глаза. Плечами поводит. Сон долит.

— Баламут говорит—грек к твоим окорокам подсыпается, Павлушка,—спрашивает Женя,—правда это?

— Какие окорока?—зевает паренек.

— Вот какие,—звонко шлепает его по заду Баламут.

— А я думал—телячьи,—просто говорит Павлик. Все смеются.

— Тебе сколько лет, Павлик?—спрашивает Гришка.

— В Петров день будет семнадцать.

— В Петров? Значит ты—Петруха? А я и не знал...

— День Петра и Павла, двадцать девятого июня, знаешь?

Павлик собирает судки и кричит, уходя:

— Вечером ждите с пирожками.

— Припрешь? — кричат вслед парни.

— Ага! — отвечает, не оборачиваясь.

— С чем пирожки-то?

— С луком, с перцем, с собачьим сердцем! — выкрикивает, точно продает, Павлик.

Против ограды, через улицу, останавливается у аптекарского магазина и, дождавшись какую-то старушонку, кричит ей неожиданно в самое ухо:

— Го-рячие пирожки-и!

Старушонка шарахается.

Павлик — в восторге. Напугал!

Хохочет звонко, на всю площадь, глядя на озлобленную, стучащую клюкой бабку.

Обессилел от смеха, крышку уронил с судка. Крышка — на панели. Павлик — у стены.

В белом костюме, в белом колпаке, розовощекий, светлозубый — веселый рекламный поварок.

Бодрым эхом — хохот парней у ограды.

Баламут утверждал, что Павлик ничего не понимает.

— С гулькин нос у него понятия нет.

Павлик, действительно, не понимал иногда такое, что понял бы ребенок.

Шутки, остроты, анекдоты — принимал или за чистую монету, или как „заливание“,— обман.

Но главное, не понимал страха и боли.

Бывали с ним случаи, удостоверяющие, что он не знал, что такое боль.

Например, из озорства ходил на Пряжку, на Рижский проспект, в Семеновский полк — лез прямо в зубы „неприятелю“.

Придет к пряжинцам.

— Здорово, трепачи!

Те во все глаза:

— Павлушка? Покровский? Бей его!

И — понесут.

В участках всегда волынился. Или околоточного дежурного облает, в лицо плюнет.

Бьют нещадно, как людей нельзя бить, — бьют.

Однажды пристав остановил его на улице. Утром, в воскресенье.

К обедне звонят, а парень — на всю площадь:

„Любила меня мать, обожала“...

Безобразие! Пристав его — за рукав.

— Чего горланишь, хулиган?

А с приставом — жена беременная.

Павлик ее — ногой в живот.

Чуть пристав его не застрелил на месте.

Что делали с ним в участке после — неизвестно, но предположить можно все, кроме хорошего.

Когда спрашивали товарищи:

— И понесли же тебя здорово?

Павлик:

— Не помню, здорово или нет. Известно, в Коломенской здорово несут. А положим, не знаю. Чорт их знает!

— Как же не знаешь? — приставали товарищи.

— Да вот — не знаю. Чего пристали? Идите и спросите.

— Да ты без памяти был, что ли?

— Зачем без памяти? Я все время пристава крыл почем зря.

Парни удивленно переглядывались, но не смеялись.

Над геройством — какой смех?

Не герой разве человек, избиваемый не по-человечески и через день-два забывший, как били: больно или не больно?

Это не геройство даже, а выше.

Имени этому — нет.

Так и товарищи павликовы сознавали.

И уважали за это молоденького, с Садовой, из греческой кухмистерской, поварка.

Перед необъятной волею его преклонялись.

Да и воля ли это была?

Имени этому тоже нет.

Есть, но имя — тайное.

Сказочная какая-то красота, изумляющая, поражающая, в Павлике цветущим цвела садом.

Садом этим роскошным он ограждался от всего, что плохо.

И огражденный — не должен был знать страха, боли и может быть всего, что омрачает, старит, изнуряет, убивает человека. — Потому, насильно приучаемый к водке, табаку (в рот, случалось, вино вливали и совали папиросы) — не привык ни пить, ни курить.

Потому, с девицами ночуя, спал крепко, к стене обратясь.

Огражденный.

И — счастливый, как никто, как само счастье.

И потому, знавшие Павлика, преклонялись перед ним.

И когда Гришка-Христос называл его красивым, то щеки ли одни, розовые или кукольные глаза имел в виду?

Не другую ли, тайную красоту чувствовал Гришка в хорошеньком поварёнке?

V

Гришка-Христос из всех покровских умнейший и начитаннейший.

— Гришка любому студенту очки вотрет, — говорили про атамана товарищи, — он все книги перечитал, оттого и ослеп.

Гришка, действительно, знал и читал много, но понимал как-то все по-своему.

Однажды Васька-Пловец слышал, как Христос беседовал с приятелями о книгах, о писателях.

— Самый первосортный писатель, это, братцы, Пушкин. Здорово писал. Все про нашего брата, шпану. Есть у него рассказ в стихах про наших покровских.

— Брось лепить горбатого, Гришка!—смеялись парни.

— Чтоб я был подлец, если вру. Про Покров, ей-ей! И ловко как. Там у него парнишка, вор-домушник, нанялся к купчихе в кухарки.

— Парнишка? В кухарки? Как же это?

— Чего ржете, дураки? Очень просто... Подбрился, парик купил, косы, накрасился. Платье бабское. Подложил, где надо, ваты: титьки, там и все прочее, честь-честью. А купчиха слеповатая в роде меня. Приняла за девчонку.

— Ну? — настораживаются парни.

— Ну, а теперь он живет и закрутил любовь с дочкой купчихиной. Открылся: „Так, мол, и так, люблю тебя, потому и платье бабское надел“. Дочка спервоначалу испугалась. Уговорил. Баки вколотил, что надо, а после и дочка в него втрескалась.

— Врешь?

— Будь я сволочь! Так у Пушкина и сказано. Эх, чорт возьми, забыл, а ловко у него про любовь ихнюю стихами... Так вот, парнишка живет у купчихи. А борода выросла. Стал бриться, а купчиха и закатись в комнату.

— Ну? Ну? — уже теряют терпение парни, а у Павлика и рот полуоткрыт, и щеки зарумянились.

— Теперь купчиха шухер подняла. А парень ее, — раз! — бритвой. Всю „хазовку“ обчистил. Бриллиантов одних на три тыщи, денег — не помню сколько, да и был таков. Шикарно писал Пушкин!.. И парень был, что надо. Тоже, как и мы, хулиганил, но, конечно, по-благородному, с револьвером. Его и убил черносотенец, офицер. В роде, как Вальку-Баяниста. Только Пушкина — за шмару.

О книгах, писателях, хотя по-своему, фантазируя и сочиняя, много говорил Гришка, и кое-чему научился у него Пловец.

И то, что упорно стал искать книги, и, найдя, читал запоем, и то, что на драки не как на безобразия стал смотреть, а как на необходимый каждому пройти путь, — то, что сознательным хулиганом стал — всем этим обязан был Гришке.

И сознавал, и ценил это, и благодарен был учителю и наставнику, площадному своему Христу.

За два-три года Васька весь курс жизни прошел. Все, что необходимо знать городскому парню.

Уличный курс. Улица учила. Кто же больше?

Одна она и мать, и наставник, и профессор.

Школа ее — живая. И наука — живая. И вся она, улица — сама жизнь.

С детства на улице. Ею воспитанный, живущий ею, знающий ее, чувствующий, осязающий грудь ее суровую, но ласковую необутыми ногами (не ходящий никогда босым по земле человек — несчастен, земли не знает, любить землю не может так сильно, как тот, кто телом своим ее ощущал), школу улицы прошедший суровую, но не обманную, закаляющую тело и окрыляющую дух, — школу, Васька-Пловец с юности стал улицы гражданином.

Знал науку — закон ее, как прилежный ученик урок.

А наука — закон ее — искание путей к борьбе и сама борьба.

И еще тверже знал, что „один—не боец", что партия нужна, артель.

И не только знал, — знать-то не шутка, — а бороться умел.

И опасности прямо смотрел в глаза, как при „сходке", стычке, на врага в глаза — непременно надо. Опускать головы, глаз прятать — нельзя.

Гришкина еще наука это.

Гришка многому научил. Он же пробудил потребность к знанию. Пушкиным натолкнул. С Пушкина Васька и начал, с „Домика в Коломне“.

Многого не понял, многое показалось скучным, ненужным, но полюбил Пушкина и гордился им.

— Пушкин — голова. Что надо парень! Такие люди — на редкость.

Так говорил. И с гордостью — еще:

— Наш, покровский.

Верил, что покровский.

Раз „Домик в Коломне“ описал — значит, покровский.

VI

Много воды утекло в Екатериновке и Фонтанке, много сменилось парней.

Гришка в Обуховской кончил, от ран. Сакулинский атаман — Соловей запятнал.

Павлик, заменивший Гришку, утонул во время волынки с пряжинцами, близ Турухтанского, Вольный тож, острова.

Много смен и перемен. Баламут в Балаклаву пешком ушел и не вернулся. Зачем ушел — ему только, Баламуту, известно. А почему не вернулся — неизвестно никому.

Женя Сахарный „котовить“ стал, на проституткины деньги жить, с Анюткою жил, со шмарой.

Идет, бывало, по улице, а мелочь, плашкетня, — посадскими кругом, воробьями — скачут: „Кис-кис! Котик! Кис-кис!“

Дразнят.

Бульонный тоже по примеру его хотел жизнь устроить — на бабий перейти доход. Да только ошибся. Под каблук бабе попал. Со вдовой, ларечницей бывшей, торговкой сошелся. А она — жох: торговать его заставила, с лотком: дули моченые, квас грушевый. И каждая копейка — на счету. Работником сделала. В черном держала теле, била—

чуть что. Баба здоровая, деревенская. Бульонный против нее — прыщик.

Иной раз не выдержит Колька, сбежит. Неделями ночует в чайных, на „гопе“, в ночлежке то есть. Ищет его Авдотья-жена. Разузнает. Разыщет.

Крик поднимет, на всю площадь:

— Изверг! Пьяница! Мучитель!

Да со щеки на щеку при всем-то народе!

Потом — за воротник и, как мальчишку, тащит домой. Очнуться не дает.

Плохое дело Бульонного!

Много перемен. Смен много.

После Павлика Самсончик атаманил. Самый молодой из атаманов, семнадцати не было — не запомнят таких.

Но атаман приличный.

Потом Самсончик на добровольном транспортном судне в плавание кругосветное уехал.

Васька стал верховодить.

Тогда же, в первые месяца атаманства, закрутил Пловец любовь с Нюткой-Немкою из чулочной, с Английского.

Нютка — шикарная, пышная, стройная, волосы только светлые очень, не особенно нравились Ваське. „Будто немка,“ — так говорил о волосах. И лицом Нютка на немку похожа: полная, румяная, глаза — голубенькими стеклышками.

Немка—девица „не выкати шара“—артельная, не ломака.

Крепко Васька ее любил.

VII

В германскую войну много ушло и от Покрова.

И Васька угадал, хотя не надолго.

Потом в запасном полку служил.

В Ораниенбауме.

В революцию, в первую, в пулеметном был, в Ора-

ниенбауме тоже. Оттуда и пришли в Питер, но здесь уже все порешено было. Фараоны сняты были; Каблуков, околоточный, из серебряковского дома, на канале, выброшенный, дней пять не убирался, после кто-то на санках, через спуск, в Екатериновку, в полынью, рыбам на закуску.

Васька потом на Балтийском работал, оттуда в Красную гвардию, а потом и в армию.

VIII

Тяжелые дни... тревожные...

Словно земля из-под ног уплывала.

В воздухе, будто бы, повисал человек.

Дни испытаний, черных дум и тревожных волнений — тяжелые дни.

Город, завоеванный теми, кто строил, кто жизнь ему дал, — этот Новый город ждал нестерпимо, тревожно, тяжко, что придут, войдут в него те, что прав на него не имеют.

И они шли...

Неведомо откуда взявшиеся близко уже подходили.

Тяжелые дни. Тревожные.

Земля из-под ног уплывала. Земля траншеями прорезывалась.

Вышки, колокольни укреплялись мешками с песком.

Каждый дом — крепость.

Каждое окно — бойница.

Ни одной пяди — тем!

Ни одного камня мостовой — тем!

О, если бы камень каждый динамитным стал снарядом!

О, если бы каналы, реки, города, — пламенеющей нефтью!

О, если бы цок конского копыта, каждый звук, громогремящим молотом бил в мозг врага!

О, если бы огоньки окон, свечек, спичек — разящей молнией!

Так пел бы Новый город песню боевую, так пел бы, если б имел голос, сердце и мозг, если б имел!

Но разве не имел?

Те, что выросли в нем, — не часть его разве?

Не нотки голоса его, не капли крови, не тонкое волокно мышц его сердца?

А все они — сыны. Разве не он сам отец?

Он — каменный.

Но они не каменные разве?

Твердостью духа, закалкою, силой мышц творящих, беспредельностью творящей мысли — не каменные?..

IX

В тяжелые, тревожные дни, когда сынам города — бойцам грозило лихо, гибель, смерть, когда враг двигался черной тучей, стремясь затмить возгоревшее ярко солнце, в те дни бойцы,— а сыны, строители города, все — бойцы, почувствовали, сознали, что должны победить или пасть.

Слава пережившим эти дни, не хоронившимся в углах, а идущим на поля загородные для встречи врага!

Слава ждущим его в городе, пядь каждую вооружа земли!

Счастливы, жившие в эти дни!

Живший в эти дни, умирая, не скажет, что даром жил.

Жил ли кто даром, живет ли кто напрасно сейчас?

Не было и нет таких!

А если были, есть,— умолчим о них, ибо они — мертвы.

Живя — мертвы.

Умолчим, ибо сказано о них все!

X

В те дни на питерском фронте встретился Васька со старым товарищем, Самсончиком-матросом.

В пехотный отряд сформированные моряки держали связь с полком, в котором находился Васька.

Самсончик — такой же цыгански черный, чернее еще, чем был, такой же горячий, вспененными губами произносящий горячие, часто недоговоренные от поспешности слова.

В кожаной нараспашку куртке, смуглой грудью обнаженно встречающий октябрьский ветер и непогоду, грудь эту также обнаженно нес навстречу губящему ветру-непогоде вражьих пуль.

Не ложился, перебежек не делал при перестрелке, а силою молодого, воспламененного жаждой битвы сердца, жаждою, в крик переходящей, в звонкое, дерзкое: „Даешь!“ — шел с этим вскриком, лозунгом и молитвою бойца и пал, четырьмя сраженный, четырьмя разрывными в грудь.

Во время короткого затишья раненый, перевязаный пришел в морской отряд Васька проститься с убитым товарищем.

Стояли хмурые над лежащим моряком товарищи-моряки.

Ни слова. И кругом тишина закатного осеннего часа. Изредка вдалеке щелкнет одинокий выстрел.

Теплая зеленая земля, питерская, болотистая. И на ней, на земле на питерской, — питерец извечный, в жертву Питера, города своего, себя принесший, — на питерской, слезами и кровью двести с лишним лет поливаемой земле.

Не нужно ему отпеваний и ладана церковного, пусть это тем, при жизни мертвым.

Черный весь: волосами, лицом смуглым, на котором черные не закрылись глаза, черный одеждою кожаной,

клешем, широко и ласково приникшим к ногам, весь словно отлитый из вороненого металла, как вороненым стволом блещущая, застывшая в руках винтовка и стволы торчащего из-за пояса браунинга.

Весь — одно; тело и металл, кость, мышцы, кровь и оружие, жизнь и борьба — одно.

Есть ли ярче, понятнее символ?

И не смел пожалеть тоскливо и мягко, да и не умел так жалеть Васька.

И сказал только:

— Парень был, что надо! Выросли вместе. Плашкетами еще познакомились.

Обступили моряки. Спрашивал кто-то:

— Товарищ твой? Да? Может, знаешь батьку с маткой? Адрес знаешь?

Но не знал этого друг детства, да и знал ли кто?

— Не знаю, где жил. Знаю, что в Питере.

— Конечно, не в Москве,— засмеялся кто-то, но осекся.

Не потому ли осекся, устыдился, что понял, что не нужно знать родных убитого, ибо родные его, батька с с маткой,— все батьки и матки, братья и сестры, товарищи-питерцы — в с е?

И адрес его — Питер.

Чего же еще?

XI

Славная смерть товарища и встреча в городке под Питером с русским революционным вождем заставили Ваську поверить в победу.

Голос вождя из туго обтянутой кожаным груди, кованый голос, острый, твердый — металл, оружие — бил и резал воздух, бил и резал, и гнал страх, малодушие, недовольство, смятение.

И сюда же, в городок, летели вражьи свистящие,

рвущиеся с злобно-зловещим треском в палисадниках и на мостовой, снаряды, горохом прыгала по крышам шрапнель.

А он, черный металлически и говорящий металлически, твердо стоящий и твердо говорящий, не слышал, казалось, что смерть бешеную кружила карусель. И страх, малодушие и недовольство, а это же — смерть — бил и бил кованым острым металлом — оружием,— голосом.

И когда уехал из городка так же быстро, как приехал революционный вождь, не стало уже страха, малодушия, недовольства и смятения. И на другой день наступавший все время враг отступил, и отступал уже с каждым боем, с каждым часом, и земля, не могущая ему принадлежать по праву жизни и по праву права, но разбойно на время попранная кровавой его стопой, земля оживала, земля ликовала, и город, разорвавший охватившее, было, змеей кольцо,— стоял твердо и незыблемо, кровью бойцов-строителей вспоенный. И, в знак возвеличения этой крови, кроваво-красными расцвеченный знаменами.

XII

Василий Соболев года полтора как женат. Живет не у Покрова, а в улице, прилегающей к Невскому, но улице, такой же отчаянной, грязно-разбитной, как родные улицы Коломны.

Много пережил Васька-Пловец передряг: войну германскую и гражданские, и вот, женатый уже, а все такой же, как и парнишкою был, только внешне изменился, да и то больше костюмом: лакироши и шаровары, отошедшие в минувшее еще до революции, сменились клешем семидесяти двух-сантиметровым, рубаха с кистями — беловоротниковым „апашем“. Чуб не зачесом, а приспущенная прядь над смелой тонкой бровью — темнорусым уголком.

И лицом почти юноша, хотя около тридцати.

Улица здоровьем неувядаемым наградила.

Хранила молодость, как сокровище драгоценное, — сильная хранила воля.

Боец опускаться не должен.

А человек — боец, всю жизнь — солдат.

Знал это, чувствовал, вернее, Соболев.

Жалел искренно, что нет фронтов.

Тогда исполнил бы все, смутно еще в детстве познанное, когда с замиранием сердца следил за борьбой атаманов и бойцов, горя от нетерпения, места не находя, и, как молодой конь — удила, грыз ворот рубахи.

И жалел искренно подчас, что не постигла его участь Самсончика, так шикарно кончившего, Питер защищая, — четырьмя в грудь из пулемета вражьего.

Кровь волною приливала, губы кусал в такие минуты, как когда-то ворот рубахи.

Зная, что драки уличные не в моде, что бессмысленны, ни к чему они там, где все — товарищи (тех, не-товарищей, в счет не ставил, те — „Мертвые души“, по Гоголю прочитанному называл), зная это, драки любил, но безобидные, мальчишеские „стычки“.

Не отрываясь, подолгу смотрел на дерущихся. И нравились новые мальчуганы — очень смелые и бойкие, куда смелее и бойчее прежних.

Иногда думал: „Вот бы из таких — шатию“.

Но тотчас же „одергивал“ себя: „Ишь, чорт Веревкин, что выдумал! Хулиганичать, брат, — не дело. Не такое нынче время“.

Васька женат на Марусе Хавалкиной, с бывшего Лаферма. Хорошенькая. Глаза — что у ребенка или у телки годовалой.

Кроткая, хорошая. Только не веселая какая-то всегда.

Васька ее не обижает.

Таких — нельзя, неловко.

Первую свою любовь, Нютку-Немку, потерял, пока на германском фронте вшей кормил,— как в воду канула.

С Марусей живет ладно, скучновато только.

Не для такой он жизни — сам понимает.

Сидит-сидит иной раз дома, в праздник и самому странно и неловко: он, Васька, покровский боец, в рубашке, подтяжки спущены, в туфлях, покуривает — будто какой чиновник банковский, буржуй бурелый.

Непонято и неловко.

И все странно: комната, вот — мебель, комод, там, этажерка.

Смех!

А главное — жена седьмой месяц ходит. Значит — ребенок, соски, пеленки...

Отец семейства — Васька-Пловец.

— Тьфу!

Плюется досадливо.

Жена — глаза ребячьи, кроткие, спокойные — телкины,— поднимает.

— Что с тобой, Вася?

— Мыла нажрался, тошнит,— Васька сквозь зубы.

— Мыло? Откуда мыло? — удивляется жена.

— Мало ли откуда!

Губы кусает. Не в духе Васька.

XIII

Несколько дней, как с работы, с электрической станции, приходит, — гуляет по вечерам по улицам.

Неспокойно что-то, не по себе.

Раньше улицы бромом действовали, а эти дни никак не успокоиться.

Дома же — совсем невозможно.

Дышать нечем.

Жена последний месяц ходит.

Скоро: плач детский, пеленки, молоко — шаги предпоследние на васькином, на боецком пути.

Да и боецкий ли путь?

На четвертый день своего вечернего блуждания по улицам встретил Нютку-Немку.

Спустилась. В барахле. Нос сизый. Голос — петлей ржавой.

Опытным глазом сразу „свешал“.

— Проститутка последней марки — факт!

„Эх! этого еще недоставало! Зачем встретилась? Старые раны бередит эта еще... Стерва, не могла соблюсти себя. Жили бы и сейчас честь-честью...“ — думает Пловец, губы кусая, быстро по улицам идя, паруся клешем семидесятидвухсантиметровым. Сплевывает направо и налево пену-слюну, как загнанный в беге конь.

И торопится, точно по делу.

А народу на осенних вечерних улицах много. Толпами густыми, парами больше, не торопясь, как в танце каком-то, проплывают, в вальсе волнующем и красивом.

Вальс! Вспоминается „Молдаванский вальс“.

Он — этот вальс — похоронная, отходная давнишнего атамана Вальки-Баяниста, песня-молитва, он — вальс этот — жизнь его Вальки, путь боецкий — Ваську толкнул из городулинской „нарочной“ партии в „заправдышную“, покровскую.

Зачем он, Пловец, не погиб такой же славной смертию, как Валька или Самсончик?

До конца не прошел заветного пути зачем?

Те оба, Баянист и Самсончик, бойцами и умерли, путь свой прошли весь, от первого до последнего шага.

До ночи бродит по улицам шумным, блещущим окнами домов и ослепительными подъездами электро-лото и ресторанов.

Из них, из шумных этих улиц, сворачивает в глухие, темные, задумавшиеся, остановившие бег своей улицы, ожидающие точно чего-то.

Остановившиеся улицы, они — невыносимы. На них бодрость теряют ноги, неуверенно звучат шаги.

Жутки, остановившиеся в беге своем, пустынные, без трамваев, людей и лошадей — улицы.

Словно конечного пути, конца пути словно заворот.

Уходит из них Васька.

Их — тихих, безголосых, безглазых — как тлению подвергшихся мертвецов, не любит Васька.

Нет! Любит! Нельзя не любить улицы. Но любит тягостно, тоскливо, как мертвецов близких.

Мертвые улицы!

Опять — на проспект, блещущеглазый, с трамвайными, автомобильными, восторженно-гулкими напеваниями, с трамвайными мигающими, как обещающие глаза женщин, огнями, на проспект широкий, открытый — иди все! — всех пропустит сквозь строй плечом к плечу стоящих гигантов — каменных солдат.

На проспекте всегда жизнь, лишь замедляется к ночи стремительный бег его.

У светлого угла, схватившись в крепких, порывистых хватках, кричат звонко и смело, словно днем в саду каком, мальчишки-папиросники.

Падают на панель, не ушибаясь, не раздирая грубой кожи босых ног, будто не камень — земля, а мурава шелковая.

Вот они, будущие бойцы, завоеватели мира!

Расцепились, воинственно смотрят друг на друга, готовы снова в бой.

Остановился Васька, улыбнулся приветливо, но согнал улыбку и грубовато-приятельски:

— А ну-ка, плашкетня, кто кого? Полста „лимонов“ тому, кто накепает.

Подбежали оба, дышат горячо, горящими глазами — в тянущие из бумажника пальцы кредитку.

— Даешь! — оба пропели.

И быстро:

— Не обманешь, товарищ?

— Зачем? Вот — кладу.

Положил на ступеньку подъезда деньги.

Встали друг против друга.

Один — татарчонок, судя по говору и широкоскулому смуглому лицу, крутогрудый и мясистый — предлагает бороться:

— Пу-французску давай.

Другой — стройный и, видимо, ловкий, но менее сильный, — не соглашается.

Васька поддерживает его:

— Чего бороться? Стыкнитесь. Самое разлюбезное дело.

Сошлись. Дерутся долго, с переменным счастьем. Васька стоит, расставив ноги в колоколах клеша, откинув полы пиджака, кусает губы, как в детстве — ворот рубахи. Чешутся руки, направить хочется неправильные удары, усилить не достаточно сильные.

Ловкий, тонконогий хлещется хорошо, но татарчонок значительно сильнее.

Когда, забывая правило, схватываются руками, сила на его стороне. Сгибает тонкого противника, как ветер вербу.

Тогда Васька кричит недовольно:

— Не хватайсь! Вы! Маралы! На кулак — так на кулак! Ты, мордастый, не лапай.

Вспоминает, глядя на толстого татарчонка, городулинского Афоньку и добавляет:

— Говядина!

Наконец, решает кулачный спор:

— Ну, будет. Оба прилично хлещетесь, плашкеты. Полста прибавлю. Разделите поровну... Шикарно хлеще-

тесь! Только ты, Ахметка, все руками лапаешь. В стычке так нельзя — это не борьба.

— Я на борьбу его ломаю, два счета ломаю, — говорит татарчонок — во!

Хватает тонкого в охапку:

— Во! Скольки фунт пойдет?

— Брось! — говорит Васька. — Получайте деньги.

— Говядина! — еще раз говорит...

Куда итти? На Лиговку, где, возможно, Немка опять?

Посмотреть на нее, рану разбередить?

XIV

Гулко звучат, звонко по тротуару ночному шаги. Кажется, говорят они, шаги.

Четкие, упорные.

Парусит, по ногам хлещет семидесятидвухсантиметровый клеш.

Как у Самсончика — вспоминается, — тогда, в бою...

Самсончик!

Черный весь, металлический, твердо-черный, на питерской, пригородной земле. Лежащий, но как памятник — величавый, плоско лежащий, даже особенно плоско, как лежат мертвецы, но в то же время вознесенный монументом.

А вот и здесь памятник.

За оградою ночного сада Екатерины императрицы памятник.

У подножья — любовники.

— Курва, — плюется Васька и, пройдя несколько шагов, сталкивается с женщиной.

Раскрашенное лицо. Глаза выжидающие из-под низкосидящей шляпы.

Улыбается слишком яркими, клоунскими губами.

„Такая же, как та“, — думает о женщине и о памятнике Васька.

Много *таких* в поздний час.

Ночью много.

А та, коронованная проститутка, скипетром как бы благословляет их.

Выпустила на улицу.

Благословила:

— Идите!

И вот, пошли, ходят, ищут самцов, не знающие других исканий.

Ищут, ходят здесь, по проспекту не день, не два — годы, десятки.

Ихний это путь.

Свой путь они проходят.

Слепые на слепом пути.

Ночные — на ночном.

Быстрее идет Васька.

Скоро Лиговка. Немка — наверное, там.

И как бы испугавшись возможной с нею встречи, сворачивает в улицу боковую.

И опять — памятник!

„А,—вспоминает,—Пушкин! Александр Сергеевич!..“

Маленький, чахлый вокруг сквер. Робко и кротко, как листья металлических кладбищенских венков, чахлых деревцов сухая листва осенняя шелестит, позвякивает.

Грустно, как над могилою, склонив непокрытую голову, черный в ночной тьме улицы, узкой — коридором — улицы, черный недвижный, камнем вознесенный бронзовый человек.

Пушкин!

Вот кого встретил, дошел до кого, в тоске бродящий Васька, путь свой затерянный ищущий, вот до кого дошел.

До старого, в веках живущего бойца. И не может отойти, словно, уйдя — потеряет что-то ценное; тайны какой-то не узнает.

Вспоминает, что стоял уже он, Васька, давно когда-то перед памятником и говорил что-то.

Мучительно, напряженно силится вспомнить — когда же это было!

И вдруг: „Ах, это у Пушкина в истории одной есть, как с памятником чу́дик какой-то разговаривает, сумасшедший“...

И почему-то вслед за этой мыслью просветленному взору Васьки открылось, что весь путь его сегодняшний и раньше, с малых лет, был путем того сумасшедшего пушкинского „чу́дика“, с памятником разговаривавшего, от памятника в страхе убегавшего — ненужный, тяжелый и гибельный путь.

Главное же, не боецкий вовсе!

Задрожал даже от мысли такой, схватился за холодное, сырое железо ограды. „Как не боецкий? А Самсончика, Вальки разве не боецкие пути?“

И вдруг ясно до нестерпимости стало, что Самсончика и Вальки пути только и начались тогда, когда они пали.

А Христос-Гришка совсем не проходил пути.

Всю жизнь они готовились к нему и сделали, наконец, по одному шагу. Гришка же не сделал и шага даже.

Валькин шаг — набег на квартиру Дерзина и конец его там.

И потому похороны его так шикарны были, что для многих до̀рог стал, не для товарищей по дракам, а бердовцам рабочим — до̀рог.

И венки ихние, бердовские, были, и гроб на руках бердовцы несли.

И дальше нестерпимо яркие мысли: он, Васька, потому фронта жаждал и терялся, когда фронты закрылись, потому это, что хотел шаг хотя один сделать — первый шаг на боецком пути.

На пути, начатом бесчисленными рабочими питерскими и других городов. Но ведь и он, рабочий, разве не

может он пойти по этому пути, указанному многими провидящими?

И этот вот, стоящий — указывал, бронзовый боец.

XV

То, чего снизу не видно, видится стоящему на высоте.

Так увидел в миг короткий, с горы точно, с башни-каланчи какой-то увидел Пловец раскинувшуюся под ногами свою жизнь.

Всю, с детских городулинских лет до последнего мига, не словами припомнил, не воспоминаниями, а так сразу узналось просто, созналось самим собой, что не было пройдено им ничего, не было шага на пути своем, на васькином, на пловцовом пути, на боецком.

И от усталости ли, пришедшей нежданно, от тоски ли, внезапно охватившей, опустился, сел, полулег на холодный, сыроватый тротуар.

Почувствовать хотел успокоение от земли, от булыжен хотел бодрости набраться, ласку панельную принять.

Было так всегда, с детства, с городулинских еще лет.

Отцом ли обиженный, побитый товарищами или так неуверенность, тоска, что ли, когда овладевала, довольно было прилечь на землю, на камень дневной ли, горячий от солнца или холодно-скользкий, вечерний — все равно — тишина какая-то, бодрость, вера — в тело входила.

И снова живи.

Снова — бейся, боец, Пловец-Васька.

На тяжелое на что иди — земля родная, мать каменная, питерская булыжная земля — в тяжести поможет, не оттолкнет от себя — поверь в нее только.

Как тогда, попранная было врагами, идущими неведомо откуда, — попранная, — снова ожила, воскресла, лишь только прислушались к ней, поверили когда в нее, своей когда

ее признали бойцы — снова покой и мир дала, кровь пролитую приняла и сохранила. И возвеличила.

И так полулежал на холодной сыроватой ночной панели и словно ждал, что призовет она, земля, мать — путь укажет, какой шаг сделать и когда.

И вдруг услышал.

Невдалеке, но не в улице этой, а на проспекте ли том широком неясное, но тревожное, шумливое что-то.

Звали, точно кричали, но без слов.

— У-у-у, — гулом неслось.

Вскочил — на шум этот кинуться хочет Пловец и не может понять — где.

Откуда — шум.

И — новый звук.

Заскакало, запрыгало звонкое что-то.

„Свисток, — понял Пловец, — милиционер свистит“.

И точно обрадовался, поверил точно, что начнется сейчас долгожданное.

У земли родной просимое — дано.

А свисток свистал тревожнее, ближе.

И новый еще — звук.

Трещащим, каменным словно мячиком, не каменным даже, а более твердым — ба-бах!

„Стреляют!“ — мелькнуло быстро.

И не зная еще — где, бежал, чувствовал, что туда, куда надо — прибежит — не ошибется.

Хлопал клешем, фуражку примял, как давно приходилось когда-то.

И быстро из улицы узкой, коридорной — на проспект. И сразу, отовсюду нахлынули звуки, точно притаились и ждали за углом.

Звонко скачущий свист и:

— А-а, держи-и-и, — многогрудное — волнами в моряну, заколыхалось.

И — покрывавшее сразу все — каменный мяч — ба-бах!

Видел: по мостовой бежит, углами режет мостовую: то вправо, то влево.

Приостановился. Полусогнутую — вытянул руку бегущий...

И — невидимый, каменно опять бабахнул мяч.

Не мыслями думается в такие моменты. Как думается, как делается — трудно определить.

Помнит Васька, что при виде бегущего, стреляющего бандита — радость почувствовал жуткую какую-то.

Не такая ли радость была хлещущая волнами в Вальке, когда ураганом влетел во вражьи покои, в черносотенный, в эсаулов дом?

Не такая ли радость в Самсончике, когда не припадал к земле, при перестрелке, а грудью обнаженной четыре принял разрывных?

Вылетел на середину улицы прямо на перерез, вскрикнул даже, кажется, этому бегущему с револьвером в руках или не вскрикнул, а показалось так, или сам был вскриком, сам, ураганом вылетевший, как вскрик. Комком звериным — прыжок.

Ахнуло, полыхнуло огнем в самое лицо. Острожгучая боль под глаз.

Но в короткий, страшно оборвавшийся миг, когда показалось, что громадные всколыхнулись и падают дома — в миг это видел: — отлетел, по мостовой лицом проехал загремевший чем-то железным ли, стальным — человек.

1923 г. Весна.

СОДЕРЖАНИЕ


1 р. 50 к.